

# НЕБЕСНЫЙ ПЕШЕХОД

А может, ничего и не будет... может, все  
уладится... может быть, пламя погаснет...  
а лед растает... пропасти зарастут... быть  
может... сады... сады...

Э. Ионеско

## ГЛАВА I

# ЭТЮД О ВЕЛИКОЙ ЖИЗНИ

### I

Почему ко мне пришли дети и сказали,  
что будет буря?

— Потому что вы школьный учитель, —  
ответил мальчик.

— Потому что сегодня суббота, —  
сказала девочка.

— Потому что вы живете на холме. — В  
полях. — И среди деревьев. — В маленьком  
доме. — С окном. — И одной комнатой, —  
говорили они вместе, перебивая друг друга.

— Это стихи? — спросила девочка.

— Это поэма, — сказал мальчик.

Это был написанный в столбик перечень  
лагерей смерти.

Лагерей уничтожения.

— Да, это стихи, — сказал я. — Это  
поэма. Малая, ничтожно малая часть поэмы.

.....  
.....  
.....

Дахау  
Арнсдорф  
Белжец  
Берген-Бельзен  
Биркенау  
Бухенвальд  
Гросс-Розен  
Гузен  
Майданек  
Маутхаузен  
Нацвейлер  
Нидерхаген  
Нордхаузен  
Равенсбрюк  
Саксенхаузен  
Собибур  
Сосновец  
Стрый  
Терезиенштадт  
Треблинка

Хадамар  
Хелмно  
Штутгоф  
Яново  
Освенцим, —

где, как говорят (словно превратив прошлое в того павшего солдата, которого, откопав, послали вновь воевать<sup>1</sup>), среди выросших ромашек поставили у печей памятник Штраусу и его вальсам.

Помните греческие метаморфозы? — Царь превращается в птицу, нимфа превращается в дерево, ткачиха превращается в паука, прорицатель в женщину, раздавленный камнем в ручей («чудо, не сякнет текущая кровь, превращаясь в прозрачную воду»), отражение в ручье в цветок. — А они превращали людей в пепел в бумажных мешках для полей с картошкой, в прозрачные, с распластанными тенями лиц с закрытыми веками, нежно тронутые прозрачной голубишной абажуры ламп, в — заживо снимая кожу — женские и офицерские перчатки, в — заживо и посмертно выламывая зубы — четки для верующих, в — скальпируя мертвых и живых — белокурые парики и волосяную набивку кресел, перемалывали — как будто ими убитые были тувелькой, которую нашел мельник — на железных мельницах кости в костную муку для скота, чтобы

— *после всего* —

когда  
русские удивленно наблюдали *домашнюю жизнь душителей идей, мучителей людей и сжигателей книг* (на углу площади тяжело чадит, шипя и растапливая снег, развороченный слонопотам, а за углом, с нежным и малиново-валдайским, с бубенцово-колокольным стеклянным звоном вращает хрусталь дверей гемютное кафе, и великан-солдат в обтаивающем плаще-палатке может тринкен фюрих-кофе из желудей из фарфоровой чашечки с пастушечками на блюбочке с пастушками или даже тринкен тее из полевых трав брентановских песенок — нарцисса и мяты, вьюнка и нимфеи, мальвы и примулы, бедные цветы, свитые в венки заварки!<sup>2</sup> — и немец говорит: «Бит-тее, бит-тее», как будто он человек, который хочет сказать: «Ку-ушайте меня, господин велика-ан — и меня, и кривого мясника, и церковь, и кузню с хупфером, на здо-ро-о-овье»... — а тут-то и хлыстанет сквозь хрустальное стекло — и по человечку, и по великану, и по чашечке с пастушечкой с фюрих-кофе)

— *после всего* —

когда — в телятине ранцев, в холсте *сидоров* в крошках табака, в крошках пороха, в — как колючие съедобные камни — крошках хлеба — потекла невидимая река вещей (вроде платья, снятого убитой еврейкой и снятого с убитой немки или вроде золотых зубов, перелитых в золотые часы с маршем за отпахивающейся крышкой; вроде мыла, отмывающего кожу до чистоты младенческого поцелуя; или нежно-белые, как снег в России, перчатки эсэсовского офицера; неумелые красивые акварельные пейзажи; или костяные трости с маленькими, как кулак, человеческими головами, которые и вправду были головами живых людей) — и австрийские губные гармошки, похожие на поющий шоколад в серебряной фольге, и Будапешт и разрушенная Варшава, и поцелуй, как падающий пронзительный птичий крик в пепле городов, и как вдруг ударил чеха, который бил немца: «Он солдат, а ты кто?»; и румынский сифилис —

а еще газ «Табун», газ «Циклон», нутро ракет и человеческий скот — немецкие пленные, русские пленные и *английские* казаки (о которых толстый Чюрчилль, дука Мальбрукский,

в Виндзоре в ванне сидючи, говорил: «А и *ничаво*. Им *клима't* привычный. И кормят *тефтелем*. И молись-не-хочу — надзиратель выйдет — хучь с *раввыном*, хучь с *муллом*.») — в запертых товарных вагонах, в мрачных, как земные пропасти, парходных трюмах

— *после всего* —

после суда, после виселиц в тюрьме ночью (почти полтора часа от начала второго до с малым половины третьего) — Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель (последние слова: «Аллес фюр Дойчлянд!»), Эрнест Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер (последние слова: «Хайль Гитлер! Праздник Пурим!»), Фриц Заукель, Альфред Йодль (который перед смертью убрал в камере, вымыл котелок и кружку, смел крошки и заправил одеяло), Артур Зейсс-Инкварт — как убийца детей превращается в соловья, как кровь Горгоны превращается в крылатого коня — превратиться в честных людей. В добропорядочных граждан. Как будто их дела были сном. А они, как сомнамбулы, *переводили Овидия на немецкий*. —

И — ловили бабочек?<sup>3</sup>

«Итак, теперь, когда с тираном покончено, моя страждущая родина будет страдать все больше и больше». — «Так, как еще никогда не страдала». — «И черный Макбет покажется вам белее снега». — «Страна будет считать его агнцем божьим», — говорят, перекликаясь в грязном огне горящих городов, чудовищные победители.

## II

«Оно не дитя». — «Оно не на облаке». — «Оно не смеется».

...И как же (в Померании и Штирии, в Тироле и обоих — верхнем и нижнем — Пфальцах, в Лотарингии, в Саксонии, в Вестфалии, Силезии и Тюрингии и Тририи и — имена их веси) ненавидели их, — *по долинам и по взгорьям, от тайги и южных гор до британских и норских морей* — празднующих победу. — В потной траве долин смраднотекущей Шпрее. Меж беснующихся на ветру фиалок, похожих на маленькие лица с усами. На вересковых полянах. Под деревьями с обрубленными ветвями рук. — Как их ненавидели разложенные на земле, словно саваны, вынутые из могил, потерявшие мертвецов, немецкие скатерти. — Как их ненавидел немецкий хлеб. — Как их ненавидела — на газетках «Штурмовик» и «Народный Обозреватель» — швабская ветчина из эльзасской лошади — как будто она была не лошадь, а девочка — лошадиная шкура. — Как будто они ели человечину. — Как их ненавидел померанский шнапс! — Штирский лук! — Тирольские огурчики! — Пфальцкие, соленые и маринованные, грибки! — И это лазурное *гиммель*. — И эти заснеженные *берген*. — И божественный *нахтигаль* (который: «Чирик-чик-чик!»), как будто — такой шутник! — никогда не был батальоном). —

И под это соловьиное пенье — словно бы гармошечка губная рейнметаллическая сипит, чини — не чини — сядет на пеньке солдат (как медведь, которому не напекла пирожков немецкая Машхен) — тряпочка — хлеб в тряпочке — кружка —

фляжка — нальет — сало — огурец — закусить — выпить — уронит слезу, огромную, как горящая изба, в спирт — и снова нальет — кружка — фляжка — сало — огурец — выпьет — а перед ним мертвые, как седой туман. — И все немцы, немцы. — И у каждого кресты на лентах под горлом. — И сипит эта гармошка — как соловей — а они пляшут. — А один голый, как на берегу Дона в 42-м. — На ногах сапоги, на макушке танковая бескозырка. — Пляшет — срам, как у быка! — руками штуки выделяет. А батальонный, красный, как цветок, и кровь плюет, как красные лепестки, орет в трубку: «Артиллерия, положи снарядика! У нас немец голый!»<sup>4</sup> — Убило его потом.

Брали мы тогда концлагерь один немецкий, имя его забыл. — Только вокруг пусто, как в пустыне. А над землей черный поганый дым, в землю врыты столбы, на столбах колючка, в колючке раскрытые ворота, в воротах комендант, а за ним — мертвые штабелями свалены и догорают. — А он щелкнул каблуками и этак ручками, как поганую немецкую проститутку в постель приглашает: «Битте! *Шашлык-машлык!*». Ротный его кулаком на землю, и мы его в нее втоптывали, как будто он сам шашлык, как будто мы себе сапогами могилу роём<sup>5</sup>, как будто я до сих пор на нем пляшу. — Как будто это нас отравили газом. Как будто это нас сожгли заживо. Как будто это мы черный дым. Мы шашлык. Это нас убили. Это мы, вместо него, растоптанные, лежим под нашими сапогами на земле.

А затем из безымянного немецкого леса выходит безымянный унтерфюрер с чертовой дюжиной гитлеюгендова фолькштурма, с дымящимся дырчатым стволом пулемета на плече и, поймав высоко подскочивший под пулей в воздух огурец, сел на пенек, выпил из солдатской кружки победителя —

и заговорил, закусывая, с обступившими его пацанятами.

Так, где-то в Ливии, у Тобрука, у железных развалин роммелева танка, безымянный бедуин — в соседстве смерти, оживляющей мертвые пески<sup>6</sup> — поет о ней, одурманивающе и протяжно.

### III

Однажды он принялся рассказывать, почему приехал в Мюнхен из Вены. — «Это была странная фантазия, я голодал, от голода мне казалось, что я в Мюнхене на городском кладбище». — Кладбище пустынно, и он прячется от угнетающего одиночества в покойницкую, где на длинных каменных столах лежат мертвецы, разряженные и напомаженные, с прозрачными, как мутное стекло, и одновременно напряженными тяжелыми лицами. Затем у них раскрываются глаза, они встают, их тело наполняется розовым и нежным светом живой плоти, они обретают тени, они улыбаются, и все вместе — мертвые с Гитлером — идут по улицам Мюнхена, увлекая за собой живых, неотличимых от мертвых. Мертвые срывают стручки акации, делают из них свистульки и дарят детям. А потом, за городом,

на сельском празднике, пока мертвые и живые, кружась, держали друг друга за руки, и объяснялись друг другу в любви, и целовались, и мертвые выбирали живых, а живые мертвых — он, одиноко бродя в сумерках между ними, любящими друг друга, — как ночные бабочки любят свет — думал, что ничто не возвышает человека так, как любовь к мертвому, как любовь к умершему или умершей. — Эта любовь, замороженная в память, неотторжимая от жизни, наполняет чистотой, силой, огнем и кровью и страстью потустороннее сиянье небес.<sup>7</sup>

«А главное, что ведь все это сбылось, все это так и есть», — добавил он с обезоруживающим простодушием.

«Ну так, значит, что, горе мое — *мое безграничное, бездонное, как звездное небо, горе*, — фольке-штурм, гитлерь-югендь, сопливые кавалеры железных крестов за храбрость — вот мы потопили в крови этот завтрак на траве, сев, голодные, за его кровавую скатерть — закусили — выпили — огурец — сало — за Германию — за Фюрера, — а что вы знаете о Германии? — да и о Фюрере? — Что фамалие его было Гитлерь, что звали его, значит, Адольф, и что его уже с нами нет? — А он ходит себе с палкой и котомкой — по Тюрингии — и по Саксонии — и по Вестфалии — и по Баварии — по проселочным дорогам, у прудов, покрытых ряской, через Гарц, поросший лесом — а, может быть, катается по Рейну в лодке, как дивный май — а, может быть, мы его еще с вами встретим. — А вы спросите: «А кто я такой такое рассказывать? *Унтерфюрерь по борьбе с комарами, да?*» — Да,

я ничтожный унтерфюрер по борьбе с комарами, сам почти комар, но если не подумать о комаре... Когда один князь задумал завоевать Рай, окончательно, как говорится, решив вопрос Неба — ну, вы меня понимаете, — отправить Рай прямо в Рай — его начали кусать комарики. Его завернули в ковер, но комары пробрались в ковер к его голове, влезли в уши, выпили у него мозг, и он стал — а был он горд и смел — он был *фюрер* — темный, дикий человек — но ведь *фюрер!* — а стал, когда его вынули из ковра — безумен, безязычен, гадок и неприличен. Вот и значит, что ничтожный, как комар, унтерфюрер по борьбе с комарами — нужен, чтобы Фюрера не закусили комары!»

Затем — выпив-закусив-водка-рыбка: «Скажете, что он не может ходить с котомкой, что его тащили под руки, когда он награждал вас, а он пердел, а вы подарили ему эдельвейсы, а он их выбросил? И что? — Он был Фюрер». — Рыбка-огурец-водка-луковица — унтерфюрер рассказывал гитлерюгенду о Данте: «Сколько раз я видел, как русских баб окунали рылом в навоз и насиловали, пока они не захлебывались дерьмом — и Дант тоже звал навсегда утопить Флоренцию, как бабу, рылом в выгребной яме<sup>8</sup> — и Дант безусловно был *фюрером*».

И — водка-огурец-луковичка-шпик-водка — рассказывал, как великий Лютер, вдруг увидев страшного разбойника Клааса, закричал: «Что ты хочешь, страшный человек!?» — а тот закричал: «Лютер! Я хочу низвергнуть государство!» — а Лютер возопил: «Как ты это сделаешь, страшный человек!?» — а тот тоже возопил: «Я сам себе государство!» — и что в тот момент они — оба сразу — вне сомнения были *фюрером*. —

А теперь представьте, что вы услышали голос, который позвал вас за собой. — Вы слышали голос и шли за ним. Вы не видели человека, но шли за ним. Вы видели балаганного петрушку (*«konik gorbunchok, как говорят русские»*), трагического петрушку, лупящего себя,

задыхаясь криком, кулачками по голове — но вы шли не за ним, вы шли за тем невидимым человеком — который надел, как куклу, Гитлера на руку.

Унтерфюрер снова выпил, его лицо, похожее на немецкую еду, скривилось от горечи — как будто это был не шнапс, а огромная слеза размером с избу — он ничего больше не говорил — как будто он и сам сегодня на короткое мгновение был *фюрером* —

этот *безымянный фронтовик*, навсегда оставшийся безымянным.

Мертвые, мы прольемся на нашу землю, как черный дождь, смывая оставшихся после войны *живых мертвецов*, чтобы превратиться в поднявшееся из земли *новое человечество*.

#### IV

...что знали они<sup>9</sup>? — *что такое сто трупов? пятьсот трупов? тысяча трупов?* — что все колодцы на брянщине полны младенцами, которых они кидали туда, чтобы не мешали спать? — шевелящуюся землю, из которой сочится кровь? — сбритые горы волос, полные мертвых вшей? — дым над Германией?

И как туман, тысячелетия клубящийся над Европой, — облачная Валгалла над Норским морем — полный перекрикивающихся, кружа, воронов («Откуда летишь ты?<sup>10</sup>») — также склубился этот тяжелый дым, напоенный кровью и криком мертвых:

— «Откуда летите?» — «Кто вы, кем вы были?» — «Добро пожаловать, комендант Маутхаузена, Франц Цирайс. Говорят, ты придумал занятную — и длинную — казнь для американских летчиков в лагерных каменоломнях. У подножия восходящей из них лестницы им клали на плечи камни весом с человека. Они поднимались вверх сквозь строй эсэсовцев, которым не надо было кричать: «Бей больней!». А затем они спускались сквозь строй и снова поднимались сквозь строй с камнями. К вечеру длинная каменная лестница была вся в крови». — «А где сами летчики?» — «Они славно поработали в Дрездене, в Гамбурге, в Аахене. Если в Ковентри огонь полз со скоростью ленивого пешеходца, то здесь он бежал, как тот *ниггер* на немецкой олимпиаде. Люди прятались в фонтанах и в фонтанах варились заживо, как раки в супницах. Раскаленный вихрь вырывал людям легкие через глотку. Они горели и парили, взмывая под небеса».

— «Добро пожаловать, комендант Дахау Мартин Вайс. Это ты ловко придумал, чтобы попы строили газовые камеры и печи, а после в зондеркомандах жгли задушенных. А однажды от печей раздался страшный крик. На партию женщин не хватило газа, их жгли живьем».

.....

— «Добро пожаловать, доктор Карл Брант. Вот ведь судьба: уже в 45-м, когда тебя спросили, как лечить Гитлера, ты предложил накормить его стрихнином. За этот «медицинский рецепт» Гитлер посадил тебя в тюрьму, судил

и приговорил — а был ты группенфюрер СС — *повесить*. Гиммлер тебя спас. И сразу же тебя снова посадили в тюрьму, судили, приговорили и повесили. И не нашлось никакого другого Гиммлера, чтобы тебя спасти. Знаешь, рассказывают, жил в незапамятные времена в Германии доктор, который хвастал, будто может вынуть из человека сердце, а наутро вставить его в человека снова, как не бывало. Вот и пристали к нему как-то в трактире: покажи да покажи. Ну, он развалил себе грудную клетку ножом, вырвал себе сердце, положил на тарелку и пошел спать. А трактирная девка скормила его трактирному коту, не то зажарила и сама съела. А на тарелку положила сердце свиньи. Вот тот доктор и вставил себе поутру в пустую грудь сердце свиньи. А потом пошел на улицу — сядет в лужу — и давай, давай, сидя в луже, своим рылом жидкую грязь рыть. Вот ты, доктор, и взрывал людей, как кровавые шары, в барокамерах, вот ты и вмораживал их в лед, травил их газом, жег кислотами и горящим фосфором, выкачивал из них кровь, заживо превращал их в анатомические музейные препараты, срезал кожу и вырывал у них кости и мясо на нужды госпиталей, добро пожаловать».

.....

— «Добро пожаловать, профессор Шпаннер из анатомического института города Данцига. Ведь это ты придумал вываривать из людей мыло, 25 кило из сорока трупов. А что ты еще придумал? Хотел придумать? — Магазины *живое мыло*? — выбираешь еврея или еврейку, польку или поляка, русского или русскую — мужчину, женщину, ребенка — а наутро тебе мыло — польское, еврейское, русское — и тут же к мылу — парная *обер-свинина* — вырезка, котлеты, окорок — человечина».

— «А ты почему молчишь, *верный Генрих, новый птицелов*, сбросивший с себя плоть, как грязную одежду? — даже не одежду — а как будто у тебя было не тело, а грязный снег, падающий и тающий, стекая грязной водой на тела людей — «народ должен знать, что в тайной государственной полиции работают абсолютно честные, добрые и человеколюбивые люди» — а безымянный хохол в деревянной будке в Треблинке ласково взымает с голых, под снегом, людей плату (один золотый) за газовую баню. — Ведь это ты вписал эту *великую страницу* в историю Германии, жаль только, что она не осталась скрытой от чужих глаз».<sup>11</sup>

— «Э-э, а ты что здесь делаешь?» — «Ведь ты ж живой!» — «Места тебе нет». — «Хотя, может быть, и есть. Ведь это ты запер одного заключенного в нужнике, дал ему гвоздь, молоток и веревку и велел повеситься — и он повесился. А сколько ты убил, кажется, 600 человек?» — «Так точно, 636 человек собственными руками». — «И ведь ты даже был, кажется, награжден?» — «Я был награжден, — отвечает окровавленная тень, — *железным крестом с мечами за храбрость!*»

И тогда из тяжелого дыма раздается:

— «Места здесь хватит<sup>12</sup>».

...потому что все эти «лощины и холмов морщины», этот верблюжий гам, этот вылеп лошадиной головы на доме — то, о чем заплачет простой человек, о чем нахмурит брови чиновник, выругается солдат, ничто для политика, над чем смеются поп и газетный шут, и смеху вторит сухое эхо радиорозы — родина<sup>13</sup> — не то, чтобы ее нет. Но она — что-то вроде живого человека — глаза, губы, улыбка, речь, смех, память, человеческая мысль — они уйдут, все это превратится в *ничто*. Все это смывается



огнем с черепа Европы — с *тотенбургов*, с лагерей уничтожения. И в прозрачно-голубой лазури неба, где не может быть никакого человеческого креста, кроме этого, похожего на мельничное колесо, креста свастики — парит орел, словно Ганимеда, сжимающий в когтях пустую сферу вселенной.

## ГЛАВА II

### ВЛАДЫКА ПРИПАСОВ

Да может и у Гитлера было свое «про это» — и он, стариком в Волчьем Логове, лез на штабной стол, чтобы генералы, как монмартрские проститутки, все старались стащить его со штабных карт и растоптанных флажков за ноги . . . . .  
. . . . .  
. . . . . как будто он, как *старый мореход*, не то убил птицу, не то — в заполярной мгле, среди вечного льда — сам был птицей<sup>14</sup>.

#### I

В нем было нечто вечное. Вернее, нечто вместо вечного. — Может быть, он мог ходить в этом рыже-дымном небе, между заводских труб, над черной жижей городских каналов (сам как грязно-рыжий клоч дима), а может быть — по этой грязно-черной, затянутой клочьями заводского дыма воде?

Что он мог?

Говорить с булыжником?

Понять трамвай?

Выдумать животное (двуногое и треххвостое или там как-нибудь иначе, наоборот)?

Стать медведем?

Изобрести розу?

Видеть вещи, текущими из прошлого в будущее, как вода?

Что?

Дать определение поэзии?

Что?

«Представьте, — говорил он, — что звезды светятся в звездном тумане, ангел несет человеческую душу к погасшей, кружа, звезде, и душа видит эти звезды, это небо, этот белый-белый и блистающий звездами туман<sup>15</sup> — а здесь, на земле, родившийся человек видит белый хлеб. Булки. Более и белее звезд. Как будто небо набито булками. Так, что не видно черноты. Это его первое воспоминание. Он помнит, что сравнил хлеб со звездами, но он забывает звезды и помнит только хлеб».

«Представьте туманный рассвет где-нибудь во Франции, крытый брезентом грузовик, чавкающий в дождливой грязи, дрожа, щупающий дорогу светом фар — солдаты, стоя на подножке, держась за дверцы, вглядываются в туман, священник в кузове утешает заложников — которые скоро перестанут

видеть, слышать, думать и чувствовать: «Не бойтесь. Я не оставлю вас до конца и наш добрый Бог тоже. Вот увидите, это легко», — думая о свиной ноге, которую в тумане на плече пронес на кухню повар: «О, добрая нюрнбергская похлебка!» — длинная расслабленная слюна стекает из его приоткрытых губ. — «Святой отец, я ни в чем не виноват». — «Я знаю, сын мой». — «Но неужели ничего нельзя сделать?» — «Слишком поздно, сын мой» — он отворачивается — и спиной чувствует мокрый порыв ветра, слышит мокрое хлопанье брезента, тихое паденье тела на дорогу в грязь. Ему есть о чем подумать. Но он не думает, он уже молотит кулаками в стенку кабины: «Ахтунг!»<sup>16</sup> — А после дети, собирающие цветы на лугу, молча бегут домой, пряча лица в букеты, увидев, как свалены друг на друга черные мертвецы в свежевырытой черной яме посреди луга».

«А теперь представьте голод — такой, когда у деревьев съедена кора, съедены листья и у елок съедены иглы, съедены цветы, трава, муравьи и гусеницы, пауки и черви, и когда прозрачный от голода ребенок, в восторге, святыми от голода глазами смотрит на прозрачный, нежно скачущий по оглоданному лесу призрак зайца.<sup>17</sup> — Когда человек мерещится не человеком, а какой-то помесью двуногого и лошади, плетущейся, шатаясь, с конской головой вместо человеческой, над которой выются мухи, а из порванных жил на шее, с оборванной гривы каплями течет кровь.<sup>18</sup> — Когда звезды пахнут гнилой селедкой и звездный свет в ночи рассыпается, как гнилая чешуя. — Когда даже воронье — пирующее на мертвечине, воронье — пьющее кровь, клюющее мертвецам глаза — *исчезает*, чую сладкий, тошнотворный запах людоедчины. И тогда ты говоришь: «Будь ты проклят, хлеб милосердия! На страшной глубине, где человек перестает быть человеком<sup>19</sup>, ты будешь раздернут на хлебные суставы, хлеб, превратившийся в бога, ты будешь смолот в хлебную пыль, бог, превратившийся в хлеб, призрак хлеба, призрак человека, будь ты проклят!»

## II

Впрочем, на канале, под грязно-бело-черно-дымно-рыжим небом, под тяжелый плеск голубиных стад, под — похожей на окаменевший клочок неба — грязно-ало-черно-рыжей стеной выпершей на канал церкви («Не то тюрьма, не то завод, не то ночлежка, не то бойни. Такой смрад. Нечто совершенно неистребимое. Пропитывает воздух, воду. Ладан пахнет. Воск пахнет. А вино и хлеб — как будто и в самом деле во что-то преобразуются»<sup>20</sup>) — ни об чем таком — от чего утешаются только последней радостью нищих и обездоленных<sup>21</sup> — он не говорил с маленьким попом этой — *не то тюрьмы, не то боен*.

А —

[А вот ведь заведется ж такая гадина — добро б нищий — так ведь — тряпье на тряпье, дырье на дырье — а тряпье парча, а тряпье кружево — а в дырье роза — а туфли веревками перемотал, а с них золото усами ползет и сыплется — *оперный нищий*<sup>22</sup> — а поди попробуй подать простому бедному человеку — сразу же — приобнимет за плечо: «Сердце мое, какой ж вы, батюшка, щедрый»...] — И поп хмурился, потому что это подаяние высчитывалось у причетников, допустивших нищего до попа. — «Сердце мое, а какой ж у вас, батюшка, причт злой». — И поп, как женщина, стряхивал с плеча его руку.

Или он хвалил церковного звонаря (за *человеколюбие в звоне*). — И поп снова хмурился, потому что звонарь был тюремным палачом. «Ты чего грустный?», — спросил его как-то раз, спускающегося с колокольни, ребенок (не то мальчик, не то девочка, да это и не особенно важно). — «Чего-чего... Работа у

меня тяжелая». — «Какая?» — «Какая-какая... Людей убиваю». — «Каких людей?» — «Каких...Всяких. Разных. Ведь я палач». — Ребенок отшатнулся от него, натолкнувшись на подошедшего как раз попа, который завизжал: «Замолчи!» — наклонился — и, перекинув болтанувшийся крест за плечо — зашипел испуганному ребенку, хлопающему полными слез глазами: «Неужели ты не понимаешь, что он пошутил!» — «А и пошутил», — лениво согласился, отвернувшись и не оборачиваясь, палач.

А этот человек — под угар болтовни («Вошли такие машинищи, криворотые, в папахах, в сапожках: “Жьэнщина, гдэ Жьожя?” — А я: да нет у нас, добрые люди, никакого Жожя. — “Ньэт, жьэнщина, Жьожя йэсть. Эта наш свьатой. Э, да вот он! Вэсь из сэбьа чьорний...” — И давай все биться лбом, как будто безрукие»), под *ка зна шо* («А цветок-от завял! — Еще б ему не завясть, ему холодно! —И голодно! — И скучно! — Ему не может быть скучно, он цветок! Ему холодно! — И голодно! — И скучно!») — снова обнимал, как женщину, попа за плечо, говорил ему, что тот *верит в бога*. — И поп, не верящий в бога, снова, как женщина, осторожно убирал с плеча ласковую руку своего разряженного в оперное тряпье неприятного собеседника.

«А помните, батюшка, как мы с вами встретились? В маленьком кафе, оно еще выходило на такой розовый пустырь, окно было открыто, вдали текла река, у реки стоял с распахнутым мотором автобус, шофер копался в нем, как в чадящем мангале, в окно тянуло дымом, водорослями, речным ветром, у окна сидела, там, снаружи, на пустыре, изнутри невидимая, нищая девушка, вот на мне тряпье и на ней тряпье, но на ней настоящее, а на мне так, так как-то, а она была как обернутый в тряпье скелет, в котором живые умирающие глаза, живые губы, красные, в которые стеклась, казалось, вся, какая в ней осталась, кровь — и было видно как они медленно сереют, как эта кровь медленно расточается, именно исчезает, буквально превращается в ничто, а вы еще, помните, ели блинчики, обсуждая что-то денежное с увесистым армянином, — у него вокруг губ была борода, как черный волосатый бублик, и губы как бублик, помните?»

Еще бы ему было не помнить — это кафе — этого армянина — блинчики — вопрос: «А вот владыка Припасов, архиерей Припасов, вам..?» — «Дядя».

[А на самом деле — *отец*. — Но признаваться в этом нельзя — всегда какая-нибудь история — ведь он жадный — его зовут *Владимир Алчный*.] — Он даже отказался посетить торжественное освящение не то колоколов, не то куполов (а то и просто полов) в храме сына: «Да у меня служба будет! А ты забыл, сколько стоит архиерейская служба? То-то. Ведь ты мне не поднесешь, так?» — «Владыка, вы можете успеть *после службы*», — отвечал сын, чувствуя, как у него неудержимо дергаются, от обиды и злобы, щеки. — «А после службы будет обед. Ты-то ведь меня даже и не накормишь?» — «Владыка, на освящении будут не последние московские люди». — «Какие люди? Главшвейцар, помистопника?» —

«Скот, гадина, он думает только о деньгах и жратве!» — бушевал, разорвав вязанку свечей и выбросив из алтаря бледно-желтые лилии, вернувшийся от владыки-отца поп-сын. — «Поймите, архиерейская служба — это такая радость для верующих, для священников, ее так ждут, она так редко бывает, — объяснял он после зияющее отсутствие архиерея удивленному московскому главшвейцару, испуганно косясь на растоптанную лилию на полу, — владыка просто не может их обмануть! Ведь он такой добрый!».

«Значит, дядя, — смял в улыбку свои розовый и черный бублики армянин. — Так вот про этого дядю...» — и он принялся рассказывать, как архиерей обул

какого-то пастора [«Болтай, болтай!»], который был в молодости фашист, а после фашизма полюбил людей, — особенно русских — отгружал, когда тут жрать стало нечего, сюда харч с тряпьем целыми товарными эшелонами, как в войну из Аушвица в Берлин [«А блинчик-от очень ничего, вкусный, вкусный»], — а дядя Припасов как раз эти эшелоны принимал — он во всем этом катался, валялся, кувыркался, плавал — как он покрикивал — на платформе товарной станции [«Будто ты там был!»] — в тулупе, хлопая рукавицами: «Клифт туды! Бациллу этуды!» — а сколько ж он пооткрывал одежных и съестных магазинчиков! — и вдруг добрый поп-фашист объявляется, говорит: «А ну-ка я посмотрю, как тут люди приоделись и что покушали». А дядя: «А и, — говорит, — посмотри. Только, — говорит, — смотреть-то, — говорит, — нечего, только позориться. Все, — говорит, — все, — говорит, — все — подчистую разворовали. Да ты, брат, не плачь, *не оскудевает* — как там это? — *рука дающего*, только будь умней, и засылай теперь мне лучше деньгами». — «Вот так он и приподнялся, ваш дядя. [«А ты-то сам на чем приподнялся? — он вор, а у тебя что? — ты-то чью кровь пьешь, такой добрый — мягкий — человеколюбивый, а?»] Боюсь, мы не сговоримся. В бога я не верю. Да и фашистом, вроде, никогда не был. Так что нам, *ваше преподобие*, — так, кажется? — вместе ловить нечего».

«Вот тут-то я вам, ваше преподобие, и пригодился, крепко пригодился, потому что, когда этот человеколюбец купил той нищей девочке какие-то пирожки — с луком? с курицей? — да она от этих пирожков сдохла раньше, и мучительней, чем от голода, — что это на вас нашло? — что это вы вдруг подумали? — что это вы подхватили с пола этой забегаловки ха-рошего паука? — (и откуда б там паук?) — и в блин, туда, в самую ему в эту в начинку, в начинку. — Он все видел. Он так ласково подвинул вам этот блинчик, у него так налилось кровью лицо, как будто готовилось превратиться в сердце, он так ласково сказал: “Кушайте, пожалуйста”. — А вы: “Да я не хочу”. — “Да вы кушайте”. — “Да я не голодный”.

Вот тут-то вам и пригодился я. “Ну, — говорю, — сердце мое, раз вы такие сытые, я докушаю”. — Откусил, так и брызнуло начинкой, и паук этот у меня между губами, я его языком в угол рта и на армянина плюнул. “Очень, — говорю, — вкусно”, — рассаживаюсь — и на стол шмат зелени — как это оно между деловых людей? — *пресс?* — “Возьмите, батюшка, *это ваше*”.

[А потом показывает — все эти нищесбродные подвальчики — подворотни — углы — ларьки — и везде это: «Подайте на церковь! А я вам магазин освящу» — «Да будто вы поп?» — «Да будто нет?» — «Да вот нет!» — «Да какая разница?» — и деньги, деньги, деньги — «Вот, батюшка, бедный лепт с немецких сливок»].

И вдруг: «Хотите цветок?» — и протягивал, как потаскухе розу, сорвав его, нежный, белый и бедный, выросший на стыке между камнями, неведимый из под ног пешеходов.

### III

«А ведь на том берегу канала — видите, эти страшные черные дома, их глухие стены, странные, случайные одинокие окна, эта черная, без парапетов набережная, и этот серый сиреневый куст на набережной — ведь там шла моя юность, а может быть и не моя юность — юность, может быть, похожая на мою — друзья, в дырявых шляпах, в продранных пиджаках<sup>23</sup> — разговоры о поэзии, о любви, о боге, о теории языка — такая же пустынная набережная, одинокий куст,

черные стены, сливающиеся с рыжим дымом — может быть, это они и есть? — ведь они умерли, они уже давно и есть пыль и дым и ветер и жирная вода и серые листья того страшного и старого куста сирени. — А там, вон ее окно в стене — жила швейка, — что вы так противно на меня смотрите? — мы были молодыми, нам не надо было жалеть о прошлом, мы жили, мы были готовы к смерти, потому что знали, что умереть молодым — *хорошо*<sup>24</sup>. — И она была *хороша*, — как хорош глоток воды, как хорош кусок хлеба — ведь мы были голодные, она поила нас чаем, кормила хлебом, кормила собой, хлебом плоти — что вы улыбаетесь криво? — мы были благодарны за эти крохи горького хлеба, — все, что у нее было — вы бы его бросили с презрением, — но я жрал его — даром! — и был благодарен за него — а потом она шла работать — ведь здесь не Париж, здесь очень трудно бедной женщине, даже если она не только работает, но и продается<sup>25</sup>. — Она умерла тоже молодой, счастливая! — Когда она умерла, я украл здесь, в церкви, у иконы Божьей Матери, букет *пармских фиалок* и бросил в реку. — Не было? — Я знаю, что храма не было. Его не было, а я сделал это. — И я часто думаю, смотря на ее окно в черной стене: кто же там живет теперь? а что, если там живет художник? художники часто живут в таких страшных местах. И вот он живет среди исчезнувших нас, курит, прохаживается сквозь призраки, пьет чай сквозь призраки, ставит у окна свою треногу с холстом, призраки идут сквозь холст, а он пишет сквозь них этот страшный пейзаж — эти черные дома, воду, набережную, сирень, и воздух, и заполонившую его пыль и дым, и птиц в дыму, и кота, моющего лапкой морду на подоконнике, и глупую собачку и церковь — и мазнул ваксой и нарисовал меня — и вас — ах ты, ваше преподобие, ведь вам голубь на клобук наклал!»

Вечерело.

Начался дождь.

Под рыже-дымно-черно-дождливым небом настоятель похожей на бойню церкви имени Христа — среди алого надсада фабрик и кирпичной черноты доходных домов, под голубями, похожими на жирных пешеходов в дождливом небе — с бранью сорвал с головы клобук с жирной белой кляксой голубя св. Духа, бросил его в жирно-черную, исхлестанную дождем воду и одновременно, опасно косясь в небо, прикрыл плешь ладошкой — яростно разбранился (когда бы и впрямь художник в черном окне вписывал его в пейзаж, ему бы пришлось на месте одного мазка наваксить что-то вроде маленькой черной метели вместо человека) о подлости птиц: а еще птица св. духа! — господь в образе голубине! — так плевать на человека! — хуже ворон! — а вороны мало того, что орут и обгадили весь крест, так еще катаются на задах по куполу! — «Ей богу, я заведу в куполе бомжа, например, ну, какого-нибудь нищего актера, пусть кричит разными птичьими голосами и отпугивает эту дрянь!» — Можно ему там даже положить матрац, провести какую-нибудь отопительную трубу, кормить.

«Да этот ваш актер с тьюфяком и трубой день покричит, а на другой день повесится, а вы и знать не будете, пока его те же птицы на гнилое мясо не разорвут. Проще, ваше преподобие, обвить и крест и купол колючей проволокой».

«Это невозможно», — презрительно возразил священник.

«Это быстро. И дешево, — ответил собиратель лепты со сливок. — Знаете, это как у китайских шлюх: на брюхе у них иероглифом написано — *быстро*, а на заднице, иероглифом — *дешево*».

«Будто вы были в Китае», — возразил священник еще презрительнее.

«А какое вам дело, где я *был*, где я *есть*, где меня *нет*, где меня *не было*, и где я *буду* и *не буду*. — Я был там. В одном маленьком городке, в нем еще течет такая топкая речка, которая вся гниет, вся полная мертвечины, костей, огромной членистоногой водяной нечисти и как будто заросла нечесаным, шевелящимся,

черным, рыжим и белым и, кажется, живым конским волосом, колтунами шевелящихся волос, и впадает в море, и через нее горбатые мостки, и по берегам, на таких спускающихся к воде улочках. — на верандах, за столами под тентами и зонтами — в этой вони, в этом смраде — пьют чай, едят рис, продают хлеб, рыбу, мясо и этих раков и этих сколопендр — вылавливают их из волос — там очень забавно решена проблема правосудия, и социальной справедливости. — Вдоль моря тянется такая длинная деревянная набережная — мостки с перилами — а за набережной — камни, галька, песок, морской мусор, волны накатываются — морской берег — на него, через мостки, выкладывают всех преступников, всех стариков, туда приходят голодные, нищие, искалеченные, самоубийцы, туда выкладывают нежеланных новорожденных детей — человеческий мусор — в иные дни берег моря шевелится этим мусором — и там ходит палач — огромный, весь какой-то кривой и окатанный, как валун, щетинистый бритоголовый китаец. — Он их убивает, по разному, часто — быстро, иногда — долго, мертвым вспарывает животы и выбрасывает в море, а море их утаскивает в реку — и булочник бесплатно дает ему хлеб, а рисовар рис, а у мясников он не берет — и его кормят и поят и угощают водкой на каждой веранде, под каждым зонтом в этом городе — и там есть такие подземные канавы, сточные канавы, укрытые досками — и там, под досками, в этих нечистотах живут старые, никому не нужные проститутки, их даже не выпускают оттуда вылезать — так вот он их кормит — наберет риса, хлеба, ходит с мешком и просовывает им под доски — знаете, он даже по-своему образованный человек, он пишет стихи — я даже кое-что перевел — я даже хотел поселиться в этом городе. — Почему? — А знаете, этот предсмертный стон, хрип, эти каждодневные крики боли медленного убийства создали, смешались там в какую-то удивительную вибрацию воздуха, в плачущую и звенящую бессловесную песню, пронизывающую этот маленький китайский город и эту маленькую китайскую жизнь».

Священник осторожно наклонился над каналом. — Перегнувшись через решетку, он глядел на отяжелевший, плывущий по воде клобук. — Он не понимал — он даже не слышал, как *купивший его* уродливый человек, отвернувшись от него, негромко говорил что-то о том, как тот

*выгнал, спустив с лестницы — как с той набережной в Китае — некрасивую и нищую девушку, как глумился, как говорил, что ее надо прибить палкой, что она кишит вшами — а когда купивший его человек проявил к ней милосердие — смеялся, говоря, что если тот захотел ее отмыть, побрить, накормить и в постель уложить, чтобы не забыл ей выбрать лобковых вшей. —*

Странная, безобразная, болезненная мысль поразила его больше, чем безобразный, очевидно выдуманный китайский рассказ. — Его, воскресшего во плоти в Раю, — как уroda, как омерзительное животное или насекомое — посадили в клетку в райском зоопарке, сквозь прутья которой он, на дорожках зоологических аллей, видит молодых, красивых, вечных и свободных людей райского будущего, —

которых он не в состоянии понять, —

которое он не

в состоянии представить.

Стоя на земле — мы окружены небом — мы в небе — небо вокруг нас — но мы не видим неба — мы видим призрак неба над головой.

И вот так же Рай — невидимый — он пронизывает прах и пепел плоти человека — он в нем — в нем он становится небытием с ним — и

из небытия — в небытии — вновь преобразует  
небытие в самого себя — сохраняя облик и  
форму праха, который, некогда, наполнил самим  
собой — но, как призрак неба, мы видим только  
призрак Рая.



## ГЛАВА III

# ВАЛЛЕН-КОСКИ

### I

*«Дневничок».* [Тонкая бледно-зеленая школьная тетрадь в линейку. Записи сделаны крупным, неустойчивым детским почерком. После каждой записи — сделанная другим почерком приписка.]

Его зовут Георгий Мельмот. Он говорит, что это известная ирландская фамилия. Он очень добрый человек. Он очень смеялся, когда я сказала, что она ничего мне не говорит.

[приписка: «Аня, два раза «говорит» — я говорю, фамилия говорит — так нельзя. А два раза «очень» (очень добрый, очень смеялся) мне понравилось».]

Через десять лет после *«Дневничка»*:

*«Застольные речи».* [Сборник стенографических записей, сделанных одним из офицеров ее охраны, опубликованный посмертно.]

Добрый не всегда похож на доброго. Такое пушкинско-онегинское: «А знали вы ... что просто — очень вы добры?» [*смеется*] Самый добрый человек, какого я встретила в моем прошлом, тоже не знал, — но кто я тогда была? — какой он меня подобрал? — безымянной, нищей, полумертвой, голодной, презираемой, почти безграмотной — мой разум был сумрачен — он спросил, как меня зовут: «Анна Ней» — я даже не знала, кто такой маршал Ней — ничего не знала — он убедил меня писать дневник, читал мне стихи, книги, кормил, лечил меня — я же умирала — у меня из всех щелей текло — каждая царапина гноилась — волосы шевелились от вшей — да волос и не было: вши их съели — он обрил мне голову, а потом покраснелся, как девушка, некрасивая девушка — и спросил меня, не надо ли выбрать их на лобке — а когда я сказала, что я девственна, сказал, что девственность, при нищете, вовсе не препятствует их появлению. — А вот я не скажу, выбрал он их или нет. — Мне казалось это чудом. А он говорил: «Разве доброта чудо?»

*«Дневничок».*

Читал мне про зоопарк, где звери сравниваются со всем, чем можно сравнить. Лебедь как зима, а его оранжево-рыжий клюв — осенняя роща. Слоны, как кривляющиеся горы. Морж похож на усталую красавицу.<sup>26</sup>

[приписка: «Аня, — повторяешь сравнения, и становишься груба ими».]

«Застольные речи».

Я не умею сравнивать. Я умею говорить только прямо. А сравнения — даже чужие — даже самые красивые — становятся грубыми в моей речи. Но его надо сравнить. Поэтому простите меня, если я скажу, что он был похож на рай. На рай, [задумывается] как Сатана, вмерзший в ледяное озеро на дне ада. И только под человеческим дыханием этот рай, похожий на шевелящего, как мельница, крыльями, сатану, оттаивал — превращаясь как будто в некое соединение птицы, цветка и воздуха — это поет, этим дышишь, оно разноцветное — и это одновременно<sup>27</sup>. И этот рай, этот райский воздух, ледяной и мертвый, оттаявший и оживший под моим дыханием, преобразил меня — безумную и убогую — стал моей кровью, стал моим дыханием, стал моей верой в преображение человека, в преображение всех людей, — любимых и нелюбимых, знакомых и незнакомых — верой в чудо райского преображения всего человечества.

«Дневничок».

Подарил мне маленького плюшевого медвежонка.

[Приписка: «Мяч!»]

«Застольные речи».

Ведь я была тогда, по сути, еще ребенком. — Нищим ребенком. — Такая девочка со спичками. — Только без спичек. — И он подарил мне мяч. Он казался мне огромным, теплым, разноцветным, переливающимся. — Я плакала, прижавшись щекой к этому мячу. Я была с ним так нежна, как может быть нежен ребенок с настоящей маленькой живой планетой, с земным шаром, который он держит и подкидывает на руках. — Он был как слеза. Он был как поцелуй. Он был любовь. [задумывается] И в этой овеществленной любви душа должна была самоуничтожиться, как — помните это замечательное стихотворение — чем-то так похожее на Слово о Полку? — может быть, тем, что Слово стояло в начале поэзии, а оно, может быть, последнее, написанное последним поэтом, стихотворение этой поэзии? — *О русская земля, ты уже за холмом. — Большому и грязному человеку подарили два поцелуя.*<sup>28</sup>

— Я была ребенком. — Это была любовь. — Я играла этим маленьким земным шаром. Я плакала, прижимаясь к нему щекой. — Как веревкой, эта любовь задушила мою детскую, грязную и некрасивую душу нищего ребенка, чтобы создать в моем опустевшем теле — создать из мертвой души — ну, как это женщины делают этими своими мягкими шлепающими губами — новую душу, похожую на услышанное впервые Слово о Полку.

«Застольные речи».

Дело в том, что в подавляющем большинстве людей душа приобретает за время жизни смертные черты, она обесценивается, она делается невидимый и смертный придаток плоти. Но для тех из них, в ком душа, совершив

нечеловеческое усилие, освободившись от смертных черт, стала вечной, ничего не значит смерть, не имеет никакого значения смерть.

Таким образом — смерть одних ничего не значит, а смерть других не имеет значения. Они умирают, они не умирают и — невидимые — идут за мной, но я абсолютно нигде от них, как, может быть, абсолютно нигде от вас огромная, непонятная и страшная жизнь вечного во времени и вселенной тяжелого небесного тела, несущегося по неведомому даже ему самому пути, вперед, сквозь холодную огромную черную пустоту, может быть, к своей гибели.

*«Дневничок».*

Смотрели на меня в зеркало.

[приписка: «Аня, у тебя замечательное лицо: эти твои тонкие, страшно неподвижные, как далекие оледеневшие грани гор, черты, эта матовая, темная, с оливковым оттенком, бледная кожа, плоские губы, маленький подбородок, угловатая тяжелая челюсть. Но — Аня, ты совсем не умеешь говорить, у тебя нет голоса!»]

*«Застольные речи».*

[Она говорит, что не боится карикатур. Лучшую карикатуру на нее нарисовал Гойя. Это огромная, длинная, черная картина. Это ночь. — Может быть это предгрозовое, затянутое тучами, иссеченное малиново-дымными полосами ночное небо. Толпа тянется на поклонение святыне. Это нищие, горбатые калеки, пьяные, безглазые. И в этой толпе, в этой беззвучно орущей груди пьяных лиц выделяется одно, притягивающее взгляд лицо. Эта бледность, этот тонкий кривой нос, эти кривые тонкие губы, эти редкие, прилипшие ко лбу волосы, и эти глаза, эти страшные тяжелые глаза... Он рисовал ненавистного Наполеона. Это Наполеон. Но одновременно это она.]

[У нее странная манера произносить слова. Кажется, как будто у нее в гортани спрятана система увеличительных стекол. Слово увеличивается до фразы, фраза вырастает в монолог.<sup>29</sup> Она объясняет эту гипнотическую странность речи предощущением единой для всех народов азбуки будущего, с пониманием того что, как такового, — слова нет, — есть осмысленное силовое движение звука в пространстве — и это силовое движение — ведет к саморазрушению, самоуничтожению слова — глагол превращается в гул, гул в мелодию, мелодия становится зримой мыслью и человек преображается в светящееся подобие сверкающего, с грохотом разрывая воздух, небесного снаряда, падающего, самоуничтожаясь, метеорита — небесным пламенем, более святым, более драгоценным, чем сама жизнь.]

[Она гениальна. Да, она гениальна — но вместе с тем в ней что-то до боли напоминает уличную шарлатанку.]

*«Дневничок».*

Подлая. Этот некрасивый человек называет меня «моя лань». А я не умею ни ходить, ни говорить, ни одеться не могу, чтобы не сидело криво, безрукая, подлая — моя нищета, она в меня въелась, как проказа, как чесотка, как лишай — не могу без мужчины — не знаю, что такое целомудрие — никогда не была девственницей — нету у меня души — нету никакой души — дам плевать себе в лицо, дам топтать себя ногами — украду, убью.

[приписка: «Вырви эту страницу».]

Не вырву.

[Вырви эту страницу.]

Что со мной? — Подлая, двоим сразу, запустили мне в волосы пятерни, как в вожжи, — и это странное, холодное, пронизывающее ощущение вдруг — что это не имеет никакого смысла, никакого значения — это даже не прикасается ко мне, как будто я смотрю на себя сверху — как будто, как девочка на шаре, я стою над землей — и одновременно на земле — и она подо мной, как шар — и эта странная власть над человеческими телами — как будто я недоступная им душа их всех — и меня держит над землей — держит именно за волосы — ползла домой — прислонялась головой к земле — головой к решеткам — к камням, деревьям, — а оно все держит — вечно и навсегда — приползла — он спрашивает: «Досыта?» — говорю: «Досыта», — спрашивает: «И навсегда?» — а я, как собака, сжалась у него в ногах, я лизала ему обувь.

[приписка: «Что ж, Аня — по стремянной — и мне пора собираться. Ты меня не простишь. И ты растешь. И если я не уйду... Знаешь, я люблю один странный, сонный, пыльный, пустынный и каменистый поворот дороги в этой стране. Жаль, что я не успел тебе его показать. Там растет несколько кипарисов. — Такие огромные, зелено-черные столбы лапчатой, чешуйчатой, пресмыкающейся зелени. И в этих кипарисах свил гнездо — свила гнездо птица. Пожалуй, это все-таки ястреб. У него поломано одно крыло. Оно даже не поломано, оно оторвано. Он не может летать. Он вываливается из гнезда, вертясь и хлопая одним крылом, и падает на дорогу. Он карабкается по веткам, как летучая мышь. Он страшен. Его взгляд нестерпим. Он клюет жуков, улиток, выковыривает из камней каких-то многоногих гусениц. Он уже никогда не напьется звериной и птичьей крови».]

«Застольные речи».

Он был подлый. — Да, это был самый добрый человек, какого я знала. В каком-то смысле он был едва ли не мой отец, как будто когда-то он, безвестным нищим юношей, поимел безвестную нищую девушку, мою мать. Но он был добр *только для меня*. Он был подл, он был лжив, зол, он презирал милосердие — ненавидел нищих, бедных, обирал, разорял, грабил, сам плоть от плоти нищеты, плоть от плоти бедных, Гарпагон, Гобсек — он ходил в тряпье — нищий, бедный — а ему принадлежали сотни домов, десятки кварталов, пустыри и улицы — плодил нищету, нищету — нищих, которые были хлебом для добрых, хлебом для богатых — чудовище, чудовище — он сам хотел своей смерти — гибели таких, как он — всех таких —этой нечисти, прячущейся среди нищих... [задумывается] А я плачу о нем. — Он был подлый, а я плачу — я говорю себе: не рыдай — и плачу.

А не о нем я плачу.

[рассказывает притчу о разбитом кувшине]

[Из воспоминаний Первого Маршала].

Меня всегда глубоко ужасало и возмущало, когда, въезжая в дымящиеся развалины городов, она всегда просила найти уцелевших детей. Что это было? — Она играла с ними в мяч, даже с самыми маленькими. Улыбаясь, смеясь и плача, сидя на корточках, она протягивала им этот мяч, и они брали его, они улыбались, они смеялись ей. Куском мела она расчерчивала дымящуюся землю на классики и прыгала с ними на одной ноге, хохоча. Она прыгала с ними через скакалку. Она гладила их, она целовала их, и они, как будто замороженные, играли и смеялись с

ней. А генералы молча отворачивались, чтобы не видеть... Мы были только страшная, очищающая мир палаческая секира в ее руке.

И тогда, я не знаю почему, но эта огромная дымящаяся земля начинала одновременно казаться маленькой, как этот разноцветный мяч в ее руках и в руках смеющегося ребенка.

*«Застольные речи».*

Я ненавижу войну. ....  
.....  
.....

## II

В будущем — в далеком будущем — в том будущем, когда человечество, наконец, станет единым (а, может быть, не только не станет, но и похоронит эту мечту — как утопленницу, без псалмов, в безымянной яме) — впрочем, меня совершенно не волнует судьба человечества — меня волнует, что тогда старый поэт (может быть, он будет седоволос, может быть, он будет лыс — не знаю — но он будет очень стар) — так вот: в том будущем, старый поэт, в каком-нибудь городе, на какой-нибудь улице, под деревьями, на скамейке, карандашом, неразборчиво, в записной книжке — похожей в его руке на живого трилобита — будет, без размеров и рифм, записывать поэму о ней, — и я вспомню эту поэму, вспомню сейчас, вспомню здесь — потому что он умер, и потому что никто не вспомнил о нем, мертвом, и никто не вспомнил о его неразборчивой поэме в записной книжке, выпавшей — в сетчатой и движущейся тени деревьев — из его мертвой руки.

Под этим небом —  
Прозрачным,  
синим,  
Которое тайно движется —  
Которому нет изгнания. —

И облака,  
Белые и бледно-серые, —

И эти дома —  
Бледно-белые,  
Бледно-серые,  
И алые, кофейно-лиловые, лилово-розовые, розовые и  
желтые, —  
Как на бельевой веревке пестрое шевелящееся тряпье  
под дождем,  
Или разноцветные прозрачные пятна цветных  
людских призраков, —

На скамейке,

Под этой зеленью —  
(ее маленькие белые цветы, похожие на крошечные дудочки невидимых эльфов, или — если есть у эльфов дети — на такие маленькие трубочки с лепестками, чтобы пускать мыльные пузыри — я не слышал музыки эльфов, я не видел мыльные пузыри эльфов) —

Так вот:  
Под этим небом,  
Среди этого разноцветного шевелящегося белья и призраков,  
Под этой зеленью —  
Я никогда не покончу с собой.

Бритва —  
(эта холодная железная осока, это железное, как зеркало, рыбе тело в вечной мерзлоте бумаги, подо льдом стихов в моем столе)

Никогда не найдет моего горла.  
Потому что ее нет.

Ее нет.  
Как есть этот день с его небом, ветром, водой, листвой, эльфами и цветными пятнами призраков.

Как есть — где-то есть — где-то есть (не может не быть — не может где-то не быть) — превратившиеся в моей памяти с призраки стихов, тени слов, отзвуки созвучий — прекрасные стихи прекрасных поэтов: А., Б., В., Г. ... — которые родились чуть раньше меня, чуть позже меня, почти одновременно со мной. —

Они и я родились в прекрасное время. Оно было прекрасным, потому что они и я родились. Оно было прекрасным, потому что они и я узнавали, что такое молодость, бедность, голод, любовь, узнавали, что такое, как это — написать стихотворение.

Как какой-нибудь пруд, в котором плавают лебеди, шипя и шлепая крыльями подплывая к брошенному в воду белому хлебу — как они превращаются в слова, а слова, слова — в воображении, в сознании — слова превращаются в лебедей.

А потом мы узнавали, как об этих лебедях — до нас — писали ставшие тенью мертвые.

Черная зима лебединых глаз,  
Сентябрь в багреце и золоте его клюва —  
И как белый воздух  
Как белое небо обратно [«от зимы к осени» — вписано и вычеркнуто] текущего времени —  
Лебединые перья,  
Тело,  
Прозрачная вода,

Крылья. —

Морж, —

Похожий на облитую черным шелком ногу красавицы.

Олень —

Дерево-зверь,

[«испуг, цветущий широким камнем» — вписано и вычеркнуто]

морщась [«как дромадер» — вписано и вычеркнуто],  
лизет холодное железо,  
бьет о решетку рогами  
и колотится головой.

[«Дахин!» — вписано и вычеркнуто]

Мы (они и я) родились в преддверии рая.

Мы (они и я).

В них (не во мне) —

[«как в хлебниковских зверях» — вписано и вычеркнуто]

жили какие-то прекрасные [«чудесные, дивные, неистовое цветение, один вздох»<sup>30</sup> — вписано и вычеркнуто]  
возможности, как вписанное в часослов Слово о Полку. —

Не Бог —

Но не имеющая имени и названья сила, —

Ради которой они умерли,

Ради которой я —

Волочу, как умирающий солдат, раздробленные  
ступни размера, зажимая кровоточащую рану цезуры. —

Верни мне молодость —

Умершую, как [«юная» — вписано и вычеркнуто]  
молодая девушка на бегу.<sup>31</sup> —

Верни мне молодость хотя бы на один день!

Чтобы я мог сказать о них.

Чтобы это не было расслабленным лепетом  
маразматика. —

Потому что они умерли.

Потому что они стали поднятой ветром пылью.

Потому что такая же поднятая ветром пыль — их  
друзья.

Потому что их нет. —

Как есть это странно светящееся августовское время,

Как есть я —

Есть я —

Но меня уже почти нет.

Я скоро сам стану пыльным призраком и другом  
призраков.

Мы жили в страшное время.

Позорное время.

Непристойное время. —

Ему следовало бы носить штаны на голове.

Время —

Когда — люди? —

Нет, они не были людьми — это было, скорее, похоже на пруд, уже почти ставший болотом, в котором — в тине, в жиже, чавкая, хлюпая — живут не то рыбы, превращающиеся в овец, не то овцы, превращающиеся в рыб — пыхтят жабрами, выставляют из водорослей овечьи морды, шевелят плавниками, чавкают в трясине копытцами — и кривая чешуя, как ногти, растет сквозь шерсть, насосавшуюся грязи, а то шерсть космами прорастает сквозь чешую —

они отравляли воду, смешивали с грязью хлеб, говорили, глядя в ночное небо на звезды: «С рассветом они уйдут. А хоть бы и вовсе их и не было. Никому они не нужны».

С рассветом —

При очищающем, раскаленном свете одной звезды —

Ушли *они*.

[«а не звезды» — вычеркнуто]

Им — а не звездам —

Рассвет принес настоящую, *вечную* ночь.

На скамейке,

Сквозь чернеющую, шевелящуюся листву, —

Сквозь ее шум, похожий на далекие рукоплесканья,

Я смотрю на закат. Сквозь розовое, распадающееся в темноте сияние вечера проступают звезды.

Я не вижу их.

Я вижу только дрожащее [«как будто она отражается в воде» — вычеркнуто] пятно луны.

Я думаю о том, как она меняет цвет, становится из мандариново-желтой —

Бледно-белой,

Бледно-голубой

[«зеленой» — вычеркнуто] прозрачно-зеленоватой,

а иногда густо-красной.

Я не вижу звезд.

Но память,

Но воспоминание —

Говорят мне, что они светят, как сквозь исколотую тающую розовую ткань, сквозь закат,

становятся строгими созвездьями: —

созвездье Любви,

созвездье Справедливости,

созвездье Разума,

созвездья Благодарности, Чести, Веры и Надежды —

[«я почти забыл их прежние имена, как они назывались раньше» — вычеркнуто]

и я,



близорукий, опоздавший умереть старик,  
забытый старик, забытый поэт,  
В наступающей ночи думаю о той, которая навсегда  
исправила карту звездного неба —  
— Анне Ней.

Я вспомнил о ней —  
Вернее —  
Вспомнил ее —  
Когда у меня умер маленький,  
Живший в клетке,

бывшийся о клеточные проволочные  
прутья крыльями попугай — и я его хоронил. — И когда я  
его хоронил, что-то смялось, что-то смешалось, что-то  
спуталось, как спутываются волосы, как спутывается  
разноцветная шерсть в пряже — что-то спуталось в моем  
сознании.

Я стоял — старик, с детской лопаткой, с белой  
маленькой коробкой из под пирожных в руке — я стоял на  
каком-то розовом песке пустыря, впереди был мост, за  
мостом были деревья на острове, золотая и зеленая паутина  
листвы, у руки было раскрытое окно кофейни, я слушал  
музыку, я не понимал, где я, я не понимал, зачем у меня в  
руке коробка и детская лопатка, я забыл, что в коробке, я  
забыл умершего попугая — я упал, коробка порвалась, в ней  
был мертвый попугай, на мосту впереди меня стояла  
женщина и мальчик, — медленно, беззвучно

она дала ему  
пощечину — я видел это медленное движение ее руки, ее  
пальцев и ногтей — и я — упавший в лужу старик с мертвым  
попугаем в рваной коробке — я чувствовал еще не  
наступившую боль этой медленной пощечины — я знал —  
что она станет вечным невидимым тавром — вечной  
невидимой болью навсегда — я чувствовал еще не  
наступившую боль этой медленной пощечины — и я был  
бессилен — я не мог изменить это — не мог превратить в  
мгновенный — чистый — вспыхнувший и угасший — свет  
небытия — этот медленный удар — я мог только умереть,  
чтобы смерть — моя смерть — превратила в небытие мою  
жизнь прежде, чем я увижу это — увижу эту пощечину — но  
— слишком слабый — испуганный — бесполезный — я не  
мог даже умереть — мне было страшно и стыдно.

И вдруг я вспомнил, как я первый раз увидел  
женщину, которая изменит звездное небо, как она была  
молода, как она была некрасива, как она была грязна, как  
прижималась головой, цеплялась грязными руками за  
железную решетку канала, падала, не держалась на ногах —  
мне стыдно сказать, в чем было измазано ее лицо, ее глаза,  
что стекало, вместе со слюной, рвотой и кровью с ее губ —  
как я поднял ее, как она упала, плача и вся дрожа и

прижалась оскверненным лицом к обуви открывшего ей дверь молчаливого и некрасивого человека.

Я тогда писал одно странное стихотворение —  
представьте —

где-нибудь в Сибири, зимой, среди снега, в запертом товарном вагоне умирающие от жажды — грезят водой — и греза о воде превращается в видение озера — огромный, влажный и черно-прозрачный сгусток влаги — и рядом с лесным зверьем, пьющим, наклоняя к воде рогатые и бородатые лица, пьет, моя окровавленную пасть, волк<sup>32</sup> — и это влажное видение лесной воды — этот призрак воды — пробуждает в хищнике *мечту о человеческом разуме* —

и эта волчья мечта,

это хищное предчувствие,

превращается —

как греза о воде превращается в видение озера —

превращается в видение *разумного животного мира*,  
в котором,

на развалинах человечества —

маленький разумный жук-человек показывает статуи людей — статуи с пустыми глазницами, держащие в руках верхушки своих черепов, полные водой — ушедшее человечество людей — несчастное человечество — отдавшее разум наставшему человечеству животных<sup>33</sup> — и разумный жук — видение волка в видении умирающего человека — рассказывает о человечестве.

### III

Между следующих страниц в записную книжку старого поэта было вложено письмо:

Здравствуйте, скорее — прощайте.

Но перед прощанием я хочу с вами поговорить, потому что через много лет вы захотите написать о ней, но не захотите обо мне, так что я сам напишу о себе. Возможно — пока она, жалкая, дрожа, терлась о мои башмаки — я показался вам похожим на призрак: человек — и одновременно этакое мопассановское *орля* — проходит, надламывает цветок — исчезает, а подломленный, как будто опрокинувшись, упавший цветущей головой вниз цветок остается. — Почти стихи. — Но скажу грубее. — Представьте иней, тающий на вспаханном лугу. Иней тает, а это черное, перепаханное небытие земли остается. И как будто на этой земле валяются обожженные морозом, схваченные гнилью овощи. Вот такой овощ мое лицо. — Но скажу иначе. — Когда лирический поэт фон Ширах сидел в тюрьме по приговору Нюрнбергского трибунала, в его камере нашли однажды спрятанную *какашку*, что вызвало смятение ума охраны и оторопь комендантов. Какашку положили на стол в отдельной камере, направив на него луч прожектора, а коменданты приходили порознь и поочередно и смотрели на нее. И эта *какашка*

в луче прожектора напомнила архитектору Шпееру — который сидел в той же тюрьме по приговору того же трибунала — огромный храм — этакую поднимающуюся над облаками Айя-Софию для Гитлера — которую он не построил, — а напрасно: это было бы самое великое здание в истории человечества. Так вот и мое лицо. Представляется одно, а видится другое. — Если бы я мог подняться в небо. Если бы, как свет этого прожектора, мое лицо облило незамутненное облаками и дымом настоящее стратосферическое сияние, оно, клянусь, стало бы красивым. Как бывало иногда необъяснимо красивым страшное, уродливое лицо Гитлера. — Вот такие, дорогой товарищ, мой малознакомый друг, *темные кипарисы*. —

А теперь о делах, мой малознакомый друг, а они у нас есть, такое бывает, не было никаких дел, не было никакого вас, а вдруг вы есть, а вдруг есть дела. —

Короче, я хочу распорядиться самым дорогим мне и одновременно самым несуразным и странным своим имуществом: этой женщиной. Я завещаю ее вам. И вы не вправе опротестовать мое завещание, потому что оно вненотариально и аюридично, потому что вы были *милосердны* к ней, как был милосерден я. Это воздаяние за милосердие. — Нет, вам вовсе не придется ее содержать. — Она живет — вернее, мой малознакомый друг, я живу — я еще живу — пока живу — а после меня будет жить она — доходом от церковных кружек для сбора милостыни (за что церкви платится процент). — Впрочем, это ее деньги и это не ваше дело. Надо понимать, что эти деньги — по сути — *украдены у бедных людей*. Я превратил это воровство в тайную (а потому справедливую) систему ссуд. Бедный человек жертвует на храм. Бедному человеку помогают. Кто? — Она.

Кто накормит голодного ребенка?

Кто его успокоит?

Кто его утешит?

Кто убаюкает?

Кто умоет?

Кто позаботится, чтобы он учился?

Кто, в конце концов, даст ему куклу?

А кто найдет слова, которые, как веревка, свяжут пьяную мать этого ребенка, эту страну, которая сидит среди других стран вся в дерьме, самая грязная — которой плюют в лицо, — от которой шарахаются, потому что ее руки и тряпье в крови — страну, которую превратили в посмешище и одновременно пугало для народов<sup>34</sup>?

Кто будет милосерден к этой стране?

Вы спросите, что же это за милосердие? — Это не ваше дело. Но я вам отвечу. — Этот народ умер. Помните брехтовского солдата? — Так вот, милосердие — милосердие, о котором вы меня спрашиваете — выкапывает труп, вливает в него шнапс, машет кадилом, чтобы народ не вонял, несет флаг, дует в дудки, бьет в литавры — и народ снова обретает былую выправку — он идет, окруженный милосердием, как пьяный орангутанг — невидимый, в дыму, громе и реянии милосердия — идет, чтобы снова умереть — на этот раз как герой.

Мой малознакомый друг, вы вправе — и в негодовании — отказаться от вам завещанного, — но меня уже нет, — а она ждет вас, — а кроме того, мой малознакомый друг, — вы добры — а я — я как тот чухонец на Валлен-Коски — я только озаботился о времени и игре света — и бросил в водопад куклу<sup>35</sup>.

Ведь вы поэт.

Вот и расскажите ей о кукле на Валлен-Коски

Расскажите ей:

- как трепещет на ветру орешник,
- как мальчишка швыряет в реку гладкую гальку,
- как женщина входит в комнату.

Расскажите ей о трудном времени<sup>36</sup>.

А о том, как унижают бедных, как издеваются над рабочими, как готовятся к большим войнам и о том, почему вы, поэт, молчали в это трудное время, расскажет она сама.

Раньше вас, до вас и без вас.

Потому что ее не похоронят в мраморном мавзолее. Ее сожгут среди битого кирпича и разрушенных домов. Или даже не сожгут, а будут изгаляться над ее трупом. Вот и напишите о ней — хотя бы попробуйте написать о ней перед смертью — как о кукле на Валлен-Коски. А когда не сможете — просто вложите мое письмо в вашу последнюю записную книжку.

## ГЛАВА IV

### ЧЕТВЕРТАЯ ЭЛОИЗА

Эти письма — их не существует, их не сохранили, они погибли, они вылетели в жерла топок, они сгорели под фосфорными бомбами, они сгнили в земле, размокли под дождем, они растоптаны сапогами людей, они пепел, они ничто — их нет.

Но они есть.

#### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Георгий Мельмот — Неизвестной

«Зачем ты за трактирной стойкой?»<sup>37</sup> — Помнишь, откуда это? — «Здесь надо быть девицей бойкой». — А ты торгуешь свечьми и ладаном, собираешь за поминовение и за здравие. Здесь надо быть сволочью — ведь это Клондайк — неужели ты с ласковой навязчивостью вымогаешь из людей их законную сдачу — ведь тебе достаточно легко и неуловимо улыбнуться им — достаточно прикоснуться легкой ладонью к их руке — прикоснуться так, как будто ты их любишь, как будто ты действительно добра и нежна к этим возвращающимся к тебе, покупающим у тебя — что? что покупающим? — свечи? — тебя, только тебя, только твою нежность, твою доброту, призрак твоей любви: — «Пожертвуйте на храм», — а после того делишь *чистый доход* надвое: на себя и храм. — Неужели ты такая? Такая, а? Ты такая? — Так зачем ты за «трактирной стойкой», за церковным прилавком? — И что это, «прилавок или алтарь»? Торгуют здесь плотью Христа? Отмеряют холст? Торговец молится, барышничает поп?<sup>38</sup> — Ведь это твое тело, это тебя, как живой, брызжащий кровью хлеб режут там, вместо того белого и черствого хлеба, который там режут. — Ты боишься этой церкви. Ты боишься этой литургии. Ты боишься своей торговли. — Ведь, по сути, это торговля на войне, как торговала немая дочка мамы Кураж.<sup>39</sup> — «*Перебейся год!*» — А война ставит тебя на колени, и кладет на спину<sup>40</sup>, война любит тебя, война *издохнет* без тебя<sup>41</sup>. А ты боишься войны. — Этой твоей войны — шепоток, смешанный с кадильным дымом — хуже, чем копьё в ребра. Какие у тебя, наверно, страшные сны. — «Перебейся год!» — Потом ты ждешь — но чего ты ждешь? какого чуда ты ждешь от этой войны? — Прости, но ты перебиваешься четыре года. — Ты хочешь перебиваться до могильной мглы?<sup>42</sup> — На какое чудо ты надеешься? — Ты веришь тому, что эта война все время говорит о любви? — Но любая война говорит о любви, и на любой войне любовь, о которой она говорит, *военная любовь*, начинается (и прекращается) не начинающим никаких слов звуком «ы». — Потому что войне плевать, что человек соткан из снов, что телом, которое издохнет, которое бросят в яму или на свалку, торгует не проститутка, а сгусток снов.<sup>43</sup> Войне нужно только мясо, она говорит о любви, говорит о *patria, gloria*, говорит о *palatium*, говорит об *anima*, а ей нужно только мясо, даже не его сладость.

Брось ее. Не жди, не надейся, не становись на колени, не лижи ног. Брось ее. И она издохнет.

## ПИСЬМО ВТОРОЕ

Неизвестная — Мельмоту

Прости. Я очень устала. Мне даже тяжело понять, что ты пишешь, о чем ты пишешь, не то чтобы ответить тебе. А ответить надо. Потому что ты говоришь о любви. Не говори о любви. Человек это действительно кусок мяса. И это мясо может испытывать какие-то чувства. Страх, боль, желание, удовлетворение. И не попрекай его этими крохами удовлетворения. — «Ы» буква слов не начинается, да. «Ы» блядь кричит, когда кончает. Вот и не попрекай меня тем, что я иногда кричу «ы». Подохну, тогда и не буду кричать. Может быть, в этом есть чуть-чуть любви. А в латинице ее точно нет. — И не сравнивай меня с мамашей Кураж. Да, я ворую. Да, я торгую. Да, я продаю себя. Но я не живу *войной*. Я живу *на войне*. — Помнишь рассказ о голодных детях в Польше тридцать девятого?

Там шли голодные дети,  
Стайками шли весь день,  
Других детей подбирая  
Из выжженных деревень.

От этих лютых побоищ  
И от напасти ночной,  
Они хотели укрыться  
В стране, где мир и покой.

Там был вожак малолетний,  
Он в них поддерживал дух  
И, сам не зная дороги,  
О том не сетовал вслух.

Тащила с собой трехлетку  
Девчонка лет десяти,  
Но и она не знала,  
Где будет конец пути.

...

Там мальчика хоронили  
В могиле среди мерзлой земли.  
Его несли два немца,  
И два поляка несли.

Хоронили мальчика в блузе  
Протестант, католик, нацист,  
И речь о будущем произнес  
Маленький коммунист.

И были надежда и вера,  
Но ничего поесть,

И пусть не осудят, что крали они  
У тех, у кого есть.

...

В том январе в Польше  
Поймали пса, говорят,  
У него на тощей шее  
Висел картонный квадрат.

На нем написано: «Дальше мы  
Не знаем пути. Беда!  
Нас здесь пятьдесят пять,  
Вас пес приведет сюда.

А если не можете к нам прийти,  
Гоните его прочь,  
Но не стреляйте: ведь он один  
Может нам помочь».

Надпись сделана детской рукой.  
Кто-то прочел, пожалел.  
С тех пор полтора года прошло.  
И пес давно окошел.

Вот и не говори мне о любви. Не покупай меня. Будь мужчиной. Возьми меня даром. Удовлетворись и брось. Я ласковая. Я нежная. Я сладкая. Только не корми меня своей добычей, сытным солдатским хлебом, этими чужими, вырванными из людей с кровью, снами. Не говори о душе. Может быть, у тебя она есть, а у меня ее нет. Но надежда на нее, но сны о ней у меня есть. Не лишай меня надежды. Не говори: «Тает лед». Не бери моего сна. Не будь нелюдью.

## ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Георгий Мельмот — Неизвестной

Что ж, может быть ты и права. Может быть, я и живу войной. Но ничего не нажил на войне. Этого сытного хлеба, солдатского хлеба, у меня нет. Может быть, я и выгляжу, как солдат. Но у меня нет добычи. В этом я, как ты. Мне нечем накормить тебя. Я голоден. Тоже голоден.

А брать тебя даром я не могу. Может быть, это и приятно, но это стыдно. — И это не тебе будет стыдно, а мне. — А стыд не исчезает, как вина, от искреннего раскаяния. И как бы я тебя ни хотел (не говорю: ни любил), я просто не могу допустить себя стать для тебя животным. Я не могу допустить быть животным для другого человека. Не могу допустить, чтобы другой человек воспринимал меня, как животное. Не могу допустить, чтобы другой человек, эта призрачная плоть, окруженная и пронизанная океаном сна, притворялся животным. — Это непереносимо стыдно. Я не могу. Я не могу. — Лучше поговорим о твоей надежде, о том, что ты просишь не отбирать у тебя. Да, голодная, да, бездомная, — да, добыча солдат, которой нет дела до лживых целей этой в конечном счете именно *религиозной войны* — неужели ты не понимаешь, что только твоя надежда, надежда на то, что ты не только животное, что у тебя

есть душа, что у тебя есть сны, — что твоя надежда и есть тот мир, где человек не животное, где у человека есть душа, где нет войны, где не надо жить на войне. Зачем же ты прячешь эту надежду в себе, бережешь ее внутри себя, не даешь к ней прикоснуться, не даешь ей преобразить и себя и мир, сделать землю блаженными островами, сделать ее Новой землей и Новым небом для нового человечества?

Помнишь, — как была *фамилия* этого провинциального городка? — помнишь эту всегда пустынную, всегда безлюдную, всегда отпертую мастерскую этого безымянного местного художника, где мы любили? — эту его полку с книгами, жирными, всосавшими в себя пыль, похожими на грязные комья масла — как будто их принесли за щекой, вынув пальцем из масленки — и вынимали пальцем же изо рта, сбрасывая с пальца на полку.

И эти распоротые мешки, холсты, вечно шевелящиеся под сквозняком, тянущимся сквозь огромные щели стен, как будто сквозь лес, — шевелящиеся, как будто ожившие, содранные с быков шкуры, в кровавых сгустках, с мухами, сонными и зимними, бесшумно вьющимися над ними, увязающими в них. — А может, мы его видели, когда перешагивали через лежащего навзничь на деревянном тротуаре пьяного, зажавшего в разжавшемся кулаке окровавленный комок снега. — А его картины? — Как будто бы что-то в нас, бесплотное, смертное и вечное, как убитый Бог, отпечаталось на мешках, на которых мы любили друг друга, проступило комьями кровавой краски сквозь мешковину — помнишь растерзанную голубку, а призрак девушки из поднятой ветром в воздух пыли, клочков бумаги, перьев, мертвых листьев, мертвых насекомых, и каждая пылинка этого на мгновение ожившего в воздухе лица, каждый мертвый лист, перышко, мушиное крылышко скрывали в себе маленького и мгновенно воплотившегося бесененка.

Помнишь, я сказал — может быть, чересчур красиво — я глядел на эту растерзанную голубку — я сказал: *что как будто почтовую голубку, чреватую живой душой, влюбились и разорвали на куски в распадающемся, как обезумевший херувим, тесном комке голубиных крыльев — а затем незримая рука некоей высшей силы вбросила в ослиную шкуру эту разорванную недовоплотившуюся в меня плоть, эти клочья голубиной падали.*

А ты сказала: у тебя есть хотя бы ослиная шкура и клочья падали. А ты сказала: я завидую тебе. Ты сказала, у тебя нет даже этого. Как если бы ты состояла из — каждой улыбкой, каждым движением глаз, движением рук, каждым дыханием, каждым своим жестом — из глумящейся толпы бесенят за изнанкой мира.

— Ты хочешь быть? — Ты скажешь: не спрашивай, хочу ли я быть, сделай, чтобы я была; как ты говорила: «не спрашивай, хочу ли я, чтобы ты раздвинул мои ноги, раздвинь их, не спрашивая меня», — как будто была грязным комком черного от пыли жира, прячущего в себе книгу, похожую на медленный призыв трубы, ради звука которой, даже мертвый, замороженно шагнешь за ворота рая. — Но это я был грязным комком черного жира — я был трусом — я не смел — не мог — отвратительный урод, зачатый на спорынье.

Пожалей меня.

Там, среди этих превращающихся в нас и вбирающих нас в себя картин, там, на мешках, пропитанных нашим запахом, нашим потом — нашим желанием — жадная, равнодушная, вся раскрытая, вся ждущая — ты не соглашалась на самую малую малость: раскрыть бьющиеся с дрожью под запахнутыми веками твои глаза, раскрыть глаза, сказать мне несколько слов. — Я не мог. А теперь я прошу меньше этой малой малости. Ты же хочешь быть. Так скажи, что ты хочешь быть. Согласись быть.



Ведь было же это все, эта жалкая счастливая юность, — ведь она есть в памяти — и эта дерюга, помнишь, она — коснись губами — была сладкая, вся похрустывала, на ней было написано «Сахар» — и ты вытирала об нее руки — с презрительным любопытством? с презрительной нежностью? — Помнишь, он нарисовал потом на этой дерюге (сквозь краску проступало «Сахар») пляшущего медведя — и длинную, заворачивающуюся по холсту цепь, и цыган, как будто прячущихся за холст, и бледно-голубой и прозрачный воздух длинными мазками вокруг, как будто медведь топчет огромную прозрачную воздушную птицу или ангела — мы смотрели на нее — эта была наша жалкая, тяжелая, неуклюжая любовь — наш стыд, мой страх, мое пролитое на тебя семя — растаптывающая нас.<sup>44</sup>

А потом был этот город — которым обрывается в море эта страна — как будто построенный акробатами. — Эти улицы, выходящие в пустыри, перерезающие пустыри каналы, глухие, черные, выходящие на пустыри стены домов и эти внезапные, страшные, *человеческие* окна в этих черных стенах — и протянутые в небе через пустыри тросы и провода — и деревья и эти черные облака. — У тебя был маленький чемодан, казалось, как животное, обрастающий плешивой шерстью — я пил кофе, ты ела пышку, масло брызнуло тебе на рукава и шарф — мы были нищие — мы стояли у окна — окно пышечной выходило на пустырь — мы вышли. — Как будто мы были этими акробатами. — Как будто это наши мечты, на этом пустыре, под только что умолкнувший вальс ходили колесом и взмывали в воздух<sup>45</sup> — как будто это *они* были настоящими акробатами, — это они преображали людей, они переименовывали созвездия. — И они исчезли. Но они не исчезают. Исчезли мы. — Вспомни о них. Мы снова должны стать ими. — Ведь мы до сих пор несли этот мучительный ад в себе, как *цветок горящую пыльцу*, как *мертвый солдат несет в остановившемся сердце родину*.<sup>46</sup>

## ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Неизвестная — Мельмоту

Вот что я тебе скажу, родной (потому что ты мне родной, что есть, то есть): я люблю тебя, не говори, что ты не любим, я люблю тебя. И я люблю тебя, каков ты есть. А ты труслив. Ты боялся взять отдающуюся тебе женщину. Родной, мало ли что она *не говорит*, она отдается! А ты боялся. — Ты жесток. Ты лжив. — «Ах, бедность!», «Ах, нищета!» — Это я была бедной, это я была нищей, а ты не был нищим, ты делал деньги на нищих. И ты ненавидел этих неимущих, приходящих к тебе, обездоленных людей. Даже я — я голодала, а ты плакал, я продавала себя, а ты плакал. — Я люблю тебя. Я каждую минуту готова повторить это: я люблю тебя. Но я не хочу жрать падаль. Я боюсь смерти. Я не хочу умирать! Но я не хочу превратиться в собственные кошмары, стать собственным адом, живой падалью, чтобы ты клевал меня, жрал меня. — Потому что ты стервятник. Ты живешь мертвечиной, и живи ей, пока какой-нибудь вздувшийся, уносимый рекой труп не унесет тебя, одуревшего и пьяного мертвой кровью, в черный и безбрежный океан кошмаров — вот твои сны, вот твои мечты, вот они, твои переименованные звезды! — захлебнись, сдохни! — о Боже, любимый, любимый, любимый, любимый мой...

## ГЛАВА V

# ГОЛОС

### I

[из выступления Министра Пропаганды]

«Вот я». — Так начинал речь праведник перед лицом Бога, так сегодня я начинаю говорить перед лицом народа. — Я вижу внимательные, слушающие меня лица. Я вспоминаю лица. Я воображаю лица. Но я знаю, народ, внимательно слушающий меня — это нечто большее, чем я могу увидеть, вспомнить и вообразить. Он и в самом деле некое подобие божества: он видим и невидим, он везде и нигде, он умен и глуп, он высок и низок, он человек и он больше человека, он в каждом из нас, а разве может кто-нибудь из нас называться им?

Но разве совсем недавно, разве еще несколько лет назад, разве он не казался самому себе сгоревшим дотла? Разве он не жаловался, плача, разве он не причитал, подобно Фаусту:

«О прискорбное бедствие, о обманутая надежда, кто помышлял о тебе? О горькое горе, беда бедучая! Увы и ах! Кто спасет меня? Где мне укрыться? Куда заползти мне? Куда бежать? Вижу: куда не подамся — я пойман».

Это было, и это был ты, народ. И разве не отвечали тебе преступные управители твоей великой страны, как будто черти, купившие твою душу:

«Знаешь что — молчи,  
По-пустому слов не мечи.  
Что имеешь — держи под замком:  
Бедя сама идет в дом.  
Потому молчи, терпи и крепись,  
Таись и горем ни с кем не делись.  
Поздно, поздно господу звать,  
Горе день за днем растет — не унять».

Подумай, каким прекрасным ты был твореньем! Но сорви розу — она увянет. Кто тебя хлебом кормит, тому ты и подпеваешь. Дождись только страстной пятницы, а там и пасха сама придет. Что ты накликал, не вдруг пришло — а ведь жареная колбаса о двух концах. Покуда половник новехонек, мешает им повар в котле, а как состарится — нагадит в него, вот и вся недолга. Снабдил тебя бог припасами, а тебе их мало показалось».

И разве тогда это голубое небо не казалось тебе кровью божества, одной только капли которой стало бы достаточно, чтобы спасти тебя?<sup>47</sup> — бедный народ —

разве ты не казался себе каплей воды, проливающейся из кувшина? — разве ты не казался себе бабочкой, возвращающей заемный прах равнодушной земле?<sup>48</sup>

.....

Кем бы она была, не стань она тем, что она есть? И кем были бы мы? И были бы мы?

Не люби она нас, не возьми она нас на руки, как Моисей, не обели она нас от кошмара, крови и грязи, как первый снег, как бы смела она сказать нам, что видела Бога лицом к лицу, смягчила его своим человеческим взглядом, пережила вечность и теперь стоит перед нами?<sup>49</sup>

Мы бы убили ее.

.....

Она отдыхает в степи, в одиночестве, без людей, как кочевница. Она хотела бы там жить. Степь ее отдыха уходит за горизонт. Она охотится. Любимый человек может к ней прийти. Она встретит его на пустынном повороте каменистой дороги, возле старых кипарисов, в ветвях которых живет потерявший крыло коршун, которого она кормит мясом и поит кровью.

Сегодня она приехала из степи. Она будет говорить. Завтра она уедет на фронт.

Ее присутствие преображает солдат. Она будит в них самоотвержение. Она их Жанна Дарк, их окопная Мадонна. Она соразмерна им, они соразмерны ей. И там, где с ними она, где они с ней — они побеждают, побеждают всегда, побеждают, даже если у них нет, казалось бы, самой возможности победить.

.....

Она прилетает перед рассветом. Длинная, гранитная, черная, похожая на колоссальную могильную плиту взлетная полоса окружена, словно прозрачной белой колоннадой, бьющими в небо прожекторами. В предрассветных сумерках она возлагает цветы — букет астр — к венчающему взлетную полосу могильному камню ее личного пилота, который попытался убить ее, бросив самолет на землю. Она выжила. Мы видели, как она, неопаленной, медленно вышла из месива металла и огня. Погибший убийца был награжден высшим орденом государства. Прочие погибшие не удостоились не только награды, но даже могильных плит. «Они визжали перед смертью», — сказала она.

Думая об этом, со страхом и восторгом вспоминаешь Шекспира:

Власть короля в такой ограде божьей,  
Что, сколько враг на нас ни посягай,  
Руками не достать.

Гранит взлетной полосы сменяется гранитной пятикилометровой Дорогой Чести. Она проходит ее медленным шагом, молча возлагая венок за венком у череды безымянных гранитных обелисков. Затем осматривает строящийся монумент Вечного Огня, похожий на колоссальную утопленную в земле чашу — или на горное озеро, из которого ушла вода — со дна которой поднимается огромное и неподвижное пламя.

За Вечным Огнем начинается Дорога Бесславья, анфилада виселиц, под которыми медленно проезжает ее открытый автомобиль. Строй мертвецов

сменяет строй мертвецов. Это воры, взяточники и предатели. Их вешают на басовых рояльных струнах, в парадных мундирах, при всех наградах и орденах. Ветер, полный тяжелым гулом, раскачивает их, на дороге обрываются обнажившиеся кости, срываются и распадаются на куски скелеты в лохмотьях мундиров и риз, под колесами трещат ордена и кости. Всякий, кто не может и не хочет, кому не хватает воображения представить тысячи повешенных, может прийти на эту пустынную пыльную дорогу и увидеть их воочию. Мертвецы сменяют мертвецов, и она вспоминает мрачное стихотворение Франсуа Вийона:

Ты жив, прохожий. Погляди на нас.  
Тебя мы ждем не первую неделю.  
Гляди — мы выставлены напоказ.  
..... Мы жить хотели.  
И нас повесили. Мы почернели.  
Мы жили, как и ты. Нас больше нет.  
Не вздумай осуждать — безумны люди.  
Мы ничего не возразим в ответ.  
Взглянул и помолись, а Бог рассудит.

Дожди нас били, ветер тряс и тряс,  
Нас солнце жгло, белили нас метели.  
Летали вороны — у нас нет глаз...  
Развеет ветер нас. Исчезнет след.  
Ты осторожней нас живи. Пусть будет  
Твой путь другим. Но помни наш совет:  
Взглянул и помолись, а Бог рассудит.

Я сижу рядом с ней, ветер треплет ее бледные, выцветшие, почти белые волосы, она угрюма и задумчива, через несколько минут ее автомобиль остановится у мрачного кирпичного храма на берегу одного из самых некрасивых, самых уродливых городских каналов. У входа в храм ее встретит глава церкви, гос-еп Припасов, племянник последнего патриарха. Он будет служить долгую панихиду. В этом храме служатся только панихиды. В нем горят только поминальные свечи. Это уже не церковь. Это настоящий дом мертвых, в котором она долго молится, стоя на одном колене.

Она страдает. Но я знаю, как знаем мы все, что с наступлением ночи, как будто вознесенная на облака белым светом прожекторов, как будто идущая по небу — она будет говорить, даря радость, счастье, надежду и самоотвержение вознесшему ее народу — прекрасная, она будет казаться девушкой из церковного хора — она будет казаться самой жизнью.

Я сижу рядом с ней. Я чувствую слабый, девственный, горький, полынный аромат ее тела. — Да она и есть сама жизнь! И мне хочется сказать ей, мне хочется обратиться к ней со словами павшего в бою солдата, поэта, фронтовика:

*«Как мы вас любим, жизнь!»<sup>50</sup>*

## II

[из письма военного прокурора Христиана Клейста<sup>51</sup>]

Дорогой отец!

Я вспоминаю твое любимое — одуванчиковое — вино; как ты мне читал — под деревом во дворе нашего дома, который построили чуть ли не при Лютере — вместо этих страшных немецких сказок про девочку ослиную шкуру, про докторов — марсианские рассказы Брэдбери. И о улыбке Моны Лизы. Как она светилась на клочке холста на ладони мальчика.

Как страшно это сбылось!

Как на той Венере — как на Венере, здесь всегда идет сводящий с ума дождь — под дождем, в сумерках, среди трупов, среди развалин, я подобрал вдруг нежно засветившийся в сумраке маленький кусок дерева, щепку с обломком человеческого лица. — Отец, я бросил на землю этот кусок дерева и вдавил его в грязь у развороченной, с сорванным лицом, головы лежащей навзничь молодой женщины в военной форме.

.....

Помнишь рассказ о марсианском докторе? — Как он стоит в свете марсианской зари, среди убитых людей, у мертвой ракеты. И это кажется бредом: этого не может быть — он болен — это галлюцинация. И он под утренними лучами солнца пускает себе пулю в голову. — Здесь я кажусь себе таким марсианским доктором.

На развалинах, дыша смрадом и пеплом и задавая вопросы равнодушным и безучастным военным и гражданским людям, я пытаюсь найти материалы и свидетельства для процесса над этим государством, которое даже не было государством, а, скорее, чем-то вроде огромной страшной волны, ударившей в человечество. — Как будто мы убили сон.<sup>52</sup> И как будто я ищу свидетельств преступлений убитого сна. — Как будто ее никогда не было, этой Анны Ней, этого чудовища, как будто она привиделась, как будто она не говорила речей, как будто не было тысячных и тысячных толп. — Ни одного клочка газеты, ни одного обрывка радиопередачи. — Даже фотографии. — Только эти виселицы и болтовня этого стертого с лица земли министра пропаганды. — Люди ничего не помнят. — А, может быть, они и *вправду* не помнят? Может быть, и *вправду ничего не было*? Может быть, это *мы* сошли с ума?

.....

Я сумел уцепиться только за одного старика. Это очень старый, очень некрасивый человек, почти урод. Он сидел, сгорбленный, в изодранном гражданском пальто, беловолосый, дряхлый, на развалинах, держа на коленях подрагивающий котелок и держа в длинных и дрожащих, как паучьи ноги, пальцах, подрагивающую ложку. Он кормил маленького ребенка, девочку, с перебинтованной рукой и перебинтованной головой. На коленях у ребенка, у этой девочки, лежала разбитая кукла, с отбитым лицом, с отбитыми руками и ногами. Старик кормил ее супом, а суп проливался из дрожащей ложки и изо рта девочки. Его мутная, комковатая вода была полна мертвыми жуками, гусеницами, какими-то личинками: крупа, из которой его варили, была, очевидно, заражена. Если там вообще была крупа. — Отец, я должен что-то сделать для них.

.....

Когда я спросил этого деда об Анне Ней, он встал. Он как будто поднялся в воздух. Как будто он стоял над землей. Как будто небо спустилось к самой земле.

Как будто он стоял на небе. «Я хорошо помню ее голос», — сказал он и попросил у меня бумагу и карандаш.

Вот что он написал:

«Господин офицер, меня зовут Георгий Мельмот. Я слышал, что с этим именем связано что-то жуткое, но я простой человек, я был рабочим, обыкновенным рабочим, я мало читал, я не знаю, что с ней связано. Может быть, это фамилия какого-нибудь преступника. Но ведь мы все принадлежим роду человеческому. И любой убийца, любой человеконенавистник обязательно связан узами родства, дружества и крови с людьми, близкими ему, но невинными в его испорченности или преступности.

[примечание Христиана Клейста: это один из жутковатых парадоксов этой страны: старый рабочий, обездоленный, бедный, скитающийся, носит имя Мельмота — скитальца, продавшего душу дьяволу — какая насмешка судьбы! — а ведь я встречал здесь и Робинзонов, и Сарториусов... а само это чудовище, эта Анна Ней!?!]

Господин офицер, я обещал вам рассказать, о чем и как говорила Анна Ней. Какими были ее публичные выступления, ее речи. Но прежде всего я должен сказать: она была хорошим человеком. Я верю в это. Я простой человек, не надо попрекать меня моей верой. Да, я понимаю, наверное, она в чем-то ошибалась, очень ошибалась. — Разрушенные города, убитые и покалеченные люди, нищета и голод и презрение к нам, и страшная укоризна, с которой вы смотрите на нас — в этом она виновата.

Но я помню, как вы разбомбили завод, на котором я работал, и в его дыму, среди его развалин, среди разбитых станков стоял заводской мастер, недоумевающий, непонимающий — да, казалось, это было именно недоумение — и тут к нему подошел однорукий мальчик, почтальон. Он молча приложил деревянную кисть руки к козырьку фуражки и другой, живой рукой, протянул мастеру — он был ранен, по голове его текла кровь — протянул ему две похоронки, на двух его сыновей. Тот тоже протянул руку, взял их, потом понял и закрыл лицо руками, забыв о них, прижимая их к лицу, пачкая их в крови». — Господин офицер, я не могу больше писать, я устал, можно, я буду просто рассказывать? — Вот, значит, человек. Вот у него убили детей, разбомбили завод, ранили. А вечером приехала Анна Ней. Она любила приезжать вечером, ночью. Нас бомбили. Мы слушали ее под бомбами. Казалось, они взрываются беззвучно. Дома вспыхивали, наливались светом, обрушивались тоже совершенно беззвучно. Окруженные беззвучным пламенем, поглощаемые беззвучным огнем, мы слышали только ее голос.

Он сливался с тишиной, растворялся в ней, сам превращался в эту напряженную тишину, — и в этой тишине внезапно ощущалось что-то похожее на плач, далекий, нарастающий, все громче и громче: что-то потустороннее, что-то ангельское... — Она любила говорить о времени, когда она была молодой: — она — нищей, полумертвой, безумной, бездомной, голодной — когда ее жизнь была кончена, когда ее жизнь была почти прожита — над ней смеялись, — ее гнали — когда ее били. — Она говорила, что была с рождения нищей. — А мы понимали, что это о нас. — Она спрашивала, как это быть с рождения нищей? — Она спрашивала, что такое носить тяжелое тряпье, которое притягивает к земле, ставит на колени, в котором спишь? — Ты как собака, твоя явь не отличается от твоей дремоты, с тобой не говорят, к тебе не прикасаются, ты чувствуешь только шевеление вшей. — *Как будто живешь высоко над землей в комнате без двери, с одним окном, сквозь которое невозможно общаться с людьми. — Как если бы единственные стихи, единственная поэзия, которую бы ты знал, был бы перечень лагерей.*

И вот здесь, в этой тишине, окружающей ее слова, в тишине самих ее слов, в этой бездне слушающей ее человеческой толпы — освещаемой беззвучным огнем, падающим с неба — вдруг заплакал ребенок — и она продолжала говорить, и ее слова и она — все это, казалось, было окружено и сливалось, сплеталось, соединялось с детским плачем:

Дахау,  
Арсдорф,  
Белжец,  
Берген-Бельзен,  
Биркенау,  
Бухенвальд,  
Гросс-Розен,  
Гузен,  
Майданек,  
Маутхаузен,  
Нацвейлер,  
Нидерхаген,  
Нордхаузен,  
Равенсбрюк,  
Саксенхаузен,  
Собибур,  
Сосновец,  
Стрый,  
Терезиенштадт,  
Треблинка,  
Хадамар,  
Хелмно,  
Штутгоф,  
Яново,  
Освенцим.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**



---

<sup>1</sup> *словно превратив прошлое в того павшего солдата, которого, откопав, послали вновь воевать:*

Б. Брехт. «Легенда о мертвом солдате»:

1

Четыре года длился бой,  
А мир не наступал.  
Солдат махнул на все рукой  
И смертью героя пал.

2

Однако шла война еще.  
Был кайзер огорчен:  
Солдат расстроил весь расчет,  
Не вовремя умер он.

3

На кладбище стелилась мгла,  
Он спал в тиши ночей.  
Но как-то раз к нему пришла  
Комиссия врачей.

4

Вошла в могилу сталь лопат,  
Прервала смертный сон.  
И обнаружен был солдат  
И, мертвый, извлечен.

5

Врач осмотрел, простучал труп  
И вывод сделал свой:  
Хотя солдат на речи скуп,  
Но в общем годен в строй.

6

И взяли солдата с собой они.  
Ночь была голубой.  
И если б не каски, были б видны  
Звезды над головой.

7

В прогнившую глотку влили шнапс,  
Качается голова.  
Ведут его сестры по сторонам,  
И впереди - вдова.

8

---

А так как солдат изрядно вонял -  
Шел впереди поп,  
Который кадиллом вокруг махал,  
Солдат не вонял чтоб.

9

Трубы играют чиндра-ра-ра,  
Реет имперский флаг...  
И выправку снова солдат обрел,  
И бравый гусиный шаг.

10

Два санитары шагали за ним.  
Зорко следили они:  
Как бы мертвец не рассыпался в прах -  
Боже сохрани!

11

Они черно-бело-красный стяг  
Несли, чтоб сквозь дым и пыль  
Никто из людей не мог рассмотреть  
За флагами эту гниль.

12

Некто во фраке шел впереди,  
Выпив белый крахмал,  
Как истый немецкий господин,  
Дело свое он знал.

13

Оркестра военного треск и гром,  
Литавры и флейты трель...  
И ветер солдата несет вперед,  
Как снежный пух метель.

14

И следом кролики свистят,  
Собак и кошек хор -  
Они французами быть не хотят.  
Еще бы! Какой позор!

15

И женщины в селах встречали его  
У каждого двора.  
Деревья кланялись, месяц сиял,  
И все орало "Ура!"

16

Трубы рычат, и литавры гремят,  
И кот, и поп, и флаг,  
И посредине мертвый солдат  
Как пьяный орангутанг.

---

17

Когда деревнями солдат проходил,  
Никто его видеть не мог -  
Так много было вокруг него  
Чиндра-ра-ра и хох!

18

Шумливой толпою прикрыт его путь.  
Кругом загорожен солдат.  
Вы сверху могли бы на солдата взглянуть,  
Но сверху лишь звезды глядят.

19

Но звезды не вечно над головой.  
Окрашено небо зарей -  
И снова солдат, как учили его,  
Умер как герой.

<sup>2</sup> *...из полевых трав брентановских песенок — нарцисса и мяты, вьюнка и нимфеи, мальвы и примулы, бедные цветы, свитые в венок заварки!:*

Клеменс Брентано. «Когда выходит смерть косить...»:

Когда выходит Смерть косить,  
Пощады нечего просить.  
Страда вековая,  
Коса роковая,  
Тела рассекает,  
Всё ближе сверкает;  
Свивает смерть себе венок,  
Скройся попробуй, бедный цветок!

Сегодня можешь ты цвести,  
Тебя, однако, не спасти!  
Нарцисс, как и мята,  
Исток аромата,  
Вьюнок и нимфея,  
Печальная фея;  
Свивает смерть себе венок.  
Скройся попробуй, бедный цветок!

Нет погибающим числа,  
Коса вплотную подошла;  
И розы и лилии  
Поникли в бессилии;  
Грозит она тронам,  
Венцам и коронам;  
Свивает смерть себе венок.  
Скройся попробуй, бедный цветок!

Мечтатель мак и белоус,  
Болотных лютиков союз,  
Лазурь вероники,  
Пыланье гвоздики,  
Что мальва, что примула,  
Пора ваша минула;  
Свивает смерть себе венок.  
Скройся попробуй, бедный цветок!

---

Тюльпан, пьянящий цветом взор,  
И ненаглядный флорамор,  
И вы амаранты,  
Пышнейшие франты,  
Тихоня-фиалка,  
Вербена-весталка,  
Свивает смерть себе венок.  
Скройся попробуй, бедный цветок!

Ты горделивый василёк,  
И ты, адонис-уголёк,  
Пион, анемона,  
Печать Соломона  
И вы, цианеи,  
Что неба синее;  
Свивает смерть себе венок.  
Скройся попробуй, бедный цветок!

Смерть незабудкам не простит,  
За их прозвание отомстит,  
Ругаясь при этом  
Над миртовым цветом;  
Бессмертнику тоже  
Гордиться негоже;  
Свивает смерть себе венок.  
Скройся попробуй, бедный цветок!

В палатах царственной весны  
Вы скипетры сохранены  
Вы шлемы порфиры  
Вы копья рапиры  
Вы шпаги вы флаги  
Напрасной отваги  
Свивает смерть себе венок  
Скройся попробуй бедный цветок

Вы подвенечная краса  
Вы доли где блестит роса  
Вы души в слиянье  
Вы свет вы сиянье  
Вы радость природы  
Её хороводы  
Свивает смерть себе венок  
Скройся попробуй бедный цветок

Вы девственная чистота  
Вы шёлк вы бархат вы фата  
Вы кубки, кувшинки  
Вы кудри, пушинки  
Вы блёстки вы кольца  
Вы звон колокольца  
Свивает смерть себе венок  
Скройся попробуй бедный цветок

Великий возвещая срок  
Ты, Боже, муку превозмог  
Вы змеи вы страсти  
Вы зубы вы пасти  
Вы гвозди вы черти  
Вы символы смерти  
Свивает смерть себе венок

---

Скройся попробуй бедный цветок

О ты печаль среди утрат  
С тебя совлечь бы твой наряд  
Флаконы с духами  
Где слёзы с грехами  
Потуги коварства  
Недуги, мытарства  
Свивает смерть себе венок  
Скройся попробуй бедный цветок

Лети пчела с полей назад  
Разрушен твой медовый склад  
Улада для роя  
Сокровища зноя  
Земные светила  
Вам смерть пригрозила  
Свивает смерть себе венок  
Скройся попробуй бедный цветок

О время, вечность, лов и зов,  
Покров для звёзд и для цветов,  
Венок мой держите,  
Мой сноп довяжите!  
Всё то что созрело,  
Для Господа цело,  
Всё попадёт к нему на ток.  
Скройся попробуй, бедный цветок!

<sup>3</sup> *И — ловили бабочек?:*

Эжен Ионеско. «Макбет»:

**Макол.** ... Итак, теперь, когда с тираном покончено и он клянет свою мать за то, что она родила его на свет, скажу вам следующее. Отныне моя страждущая родина увидит больше пороков, чем когда бы то ни было. При моем правлении она будет страдать все больше и больше — так, как еще никогда не страдала. ... Я чувствую, что пороки так хорошо мне привиты, что стоит им расцвести пышным цветом, и черный Макбет покажется вам белее снега, а наша бедная страна будет считать его агнцем божьим в сравнении со мной и моими бесчисленными злодеяниями. Макбет был кровавым, сластолюбивым, скупым, лживым, коварным, хитрым. Его пороков не счесть. Но моему распутству не будет границ. Вашим женам, дочерям, матерям семейств, девственницам не насытить моих желаний. Мои страсти преодолеют все преграды моей воли. Макбет был бы монархом намного лучшим, чем я. В моем характере самые низменные инстинкты сочетаются с такой неутолимой жадностью, что за время своего правления я отрублю головы всем дворянам, чтобы завладеть их землями. Мне потребуются драгоценности одного, дом другого, и каждое новое приобретение будет для меня лишь приправой, разжигающей аппетит. Я затею несправедливые тяжбы с лучшими и самыми порядочными, чтобы завладеть их добром. Я напрочь лишен добродетелей, которые пристало иметь монархам. Справедливость, искренность, умеренность, уравновешенность, щедрость, упорство, жалость, человечность, набожность, терпение, мужество, твердость — мне неведом даже их привкус. Зато у меня в избытке различных преступных наклонностей, которые я удовлетворю любыми средствами. ... Теперь, придя к власти, я вылью к чертям сладкое молоко согласия. Я приведу в полное расстройство всеобщий мир, уничтожу на земле всякое единство... (*Исчезает в тумане.*)

*Туман рассеивается. Через сцену пробегают Охотник за бабочками.*

<sup>4</sup> *А один голый ... У нас немец голый!*

Юрий Лотман. «Не-мемуары»:

Однажды (жара стояла уже настоящая) мы увидели, что часовой, охранявший вход в штаб, стоит на посту совершенно голый, в чем мать родила, только в сапогах и с автоматом на шее. Он не

---

только защищался этим от жары, но и явно находил удовольствие в том, какое впечатление должен был производить его вид на нас. Стоя анфас к нашему пункту, он хохотал и хлопал себя по животу. Наш лейтенант не выдержал такого унижения и выпросил в штабе три снаряда: «Ну хоть припугнуть немножко, чтоб штаны надел», — упрасивал он комбата и получил ответ: «Ну ладно, три штуки дай». Тремя снарядами пристрелять орудие, даже если раньше пристрелка уже была, почти невозможно — ведь то ветер, а то орудие с каждым выстрелом пусть незначительно, но оседает, особенно на нетвердой прибрежной почве. Всем этим можно было пренебречь при обычной, массивированной стрельбе. Это было бы просто незаметно. Но здесь работа была филигранная и требовала предельной точности. Наше орудие, выпустив три снаряда, конечно, не принесло заречному соседу никакого вреда, но намек он все-таки понял и штаны надел. Вообще, отношение к обнаженному телу у нас и в немецкой армии было совершенно различным. Причем здесь явно сказывалась разница между европейским и восточным взглядом на этот вопрос. Немцы не только не стыдились (все наши наблюдения шли через линию фронта, потому мое мнение нуждается в корректировке) расстегнутости, обнаженного тела, но даже, видимо, находили в этом особый стиль. Они охотно разезжали по фронту голые на мотоциклах, на немецких воинственных плакатах фронтовой немецкий офицер всегда изображался в расстегнутой на груди форме и с закатанными рукавами (вероятно, в немецкой армии все это воспринималось как «марциальный шик»). У нас было принято стыдиться своего тела (я не помню, чтоб кто-нибудь из нас, особенно из крестьянских ребят, раздевался для того, чтобы загорать). Если в жару на работе мы позволяли себе вольность, это могло быть до пояса голое тело, но при обязательных штанах и сапогах.

<sup>5</sup> ...как будто мы себе сапогами могилу роём...

Франц Кафка. Дневники:

Это не биография, а открытие самых мельчайших элементов. Из них-то я и буду строить, подобно тому, как человек, у которого обветшал дом, хочет построить рядом другой, более крепкий, по возможности используя материал от старого дома. Досадно, что иногда такому человеку силы изменяют в самом разгаре стройки и вместо ветхого, но целого дома у него остается один полуразрушенный, а другой недостроенный — иными словами, ничего. Дальше следует чистое безумие, нечто вроде казацкой пляски между двумя домами. В этой пляске казак топчет каблуками землю до тех пор, пока не выроет себе могилу

<sup>6</sup> ...в соседстве смерти, оживляющей мертвые пески...

Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель»:

Сказитель запел о могуществе опасности, она приходит вместе с войной и царит, превращая золотой песок в гнездо змей. Она возвеличивает каждый холм, наделяя его властью над жизнью и смертью. И берберам захотелось соседства смерти, оживляющей мертвый песок. Сказитель пел о величии врага, которого ждут отовсюду, который, словно солнце, странствует с одного края света на другой, и неведомо, откуда ждать его. И берберы возжаждали близости врага, чье могущество окружило бы их, словно море.

В них вспыхнула жажда любить, они словно бы заглянули в лицо любви и вспомнили о своих кинжалах. Плача от радости, ласкали берберы стальные клинки -- забытые, заржавленные, зазубренные, -- но клинки для них были вновь обретенной мужественностью, без которой мужчине не сотворить мира. Клинок стал призывом к бунту. И бунт был великолепен, как пылающий огонь страсти.

Берберы умерли людьми.

<sup>7</sup> я в Мюнхене на городском кладбище ... потустороннее сиянье небес.

Гийом Аполлинер. «Дом мертвых»:

Дом мертвых стоял у кладбища  
Примостившись к нему подобно монастырю  
За его большими стеклами  
Похожими на витрины модных лавок

---

Манекены не стояли а лежали  
Со смертными гримасами вместо улыбок.

Я в Мюнхене был уже две-три недели  
Но случайно оказался впервые  
Здесь где не встретил никого живого  
И задрожал от страха  
Увидав эту местную публику  
Выставленную на обозрение  
И принаряженную к похоронам

И вдруг  
Мгновенно как память моя  
В каждой из этих стеклянных клеток  
Зажглись глаза  
И апокалипсис  
Небо наполнил ожившей толпой  
А земля  
Такая же плоская как в догалилеево время  
Покрылась тысячью мифов застывших  
Ангел алмазом провёл по стёклам  
И мёртвые с потусторонними взглядами  
Меня окружили со всех сторон

Но вскоре их лица и позы  
Утратили эту мрачность  
И небо с землёю стали  
Куда реальней

Мёртвые веселели  
Видя как снова тела их плотнели и света не пропускали  
Они улыбались тому что опять обретали тени  
И смотрели на них  
Словно это и вправду была их прошедшая жизнь

И тогда я всех сосчитал  
Оказалось их сорок девять  
Женщин мужчин и детей  
К ним на глазах возвращался их прежний облик  
И теперь они на меня глядели со всей  
Сердечностью  
Нежностью даже  
И таким дружелюбием  
Что  
Я внезапно решился и словно хороших друзей  
Пригласил их скорей прогуляться поодаль

От руки не отняв руки  
Напевая военные марши  
Да простятся ваши грехи  
Уходили мы дальше и дальше

Мы город пересекали  
И то и дело встречали родных  
Кого-то из тех кто скончался совсем недавно  
И с собой уводили их  
И было так мило и славно  
Так весело среди них  
Что вряд ли бы вы отличили  
Покойников от живых

Выйдя за город

---

Все разделились  
Тут к нам присоединились  
Два всадника встреченных криком весёлым  
Из бузины и калины  
Они  
Вытачивали свистульки  
И детям дарили их

А потом мы попали на сельский праздник  
Партнёры держали друг друга за плечи  
И пары кружились под цвеньканье цитры

Они не забыли все эти па  
Мёртвые кавалеры и дамы  
Они пропускали стакан за стаканом  
И время от времени  
Колокол бил возвещая о том  
Что новая бочка с вином открыта

Одна из покойниц сидела в саду  
На скамье под кустом барбариса  
А какой-то студент  
Перед ней на коленях  
В любви объяснялся

Я буду ждать вас сколько хотите  
Десять лет или двадцать лет  
Как скажете так и будет  
Я буду ждать вас  
Всю вашу жизнь  
Мёртвая отвечала

Дети  
Того и этого света  
Встали в один хоровод и пели  
На языке своём птичьём  
Заумном и поэтичном  
На том что остался от древних времён  
Цивилизации

А студент колечко  
Надел на палец мёртвой невесты  
Это залог любви моей вечной  
Свидетельство нашей помолвки  
Ни разлука ни время  
Не разведут наши судьбы  
И в день нашей будущей свадьбы  
Миртовыми ветвями  
Украсим мы нашу одежду и вашу причёску  
Будет богатым венчание  
Долгим застолье  
И столько музыки  
Музыки столько

А наши дети будут конечно  
Шепчет она  
Всех краше на свете  
Увы! рассыпалось в прах колечко  
Краше золота будут дети  
Крепче алмаза белее льна  
Всех светлей всех светлей на свете  
Краше чем звёзды и чем луна



---

Краше чем первый луч на рассвете  
Краше чем взгляд ваш такой сердечный  
Благоуханней всего на свете  
Увы! рассыпалось в прах колечко  
Благоуханней лилий в букете  
Благоуханней чем розы и тмин  
Чем лаванда и розмарин

Музыканты исчезли  
Мы продолжили путь

Камешки мы бросали  
С берега озера в воду  
И вместе с ними плясали  
Как камешки плоские волны

Возле причала качались  
Привязанные лодки  
Мы их отвязали  
И всей толпою в них разместились  
И мёртвые за вёсла схватились  
И стали грести подражая живым

В лодке которой я управлял  
Мёртвый сидел на носу и беседовал с юной особой  
Одетой в жёлтое платье  
С чёрным корсажем  
У неё были синие ленты и серая шляпка  
С единственным гладким пером

Я люблю вас  
Он ей говорил  
Как голубь голубку  
Как ночная бабочка  
Любит свет

Слишком поздно  
Ему отвечала живая  
Отступитесь от этой запретной любви  
Я замужем  
Видите вот и колечко  
Но руки дрожат  
И слёзы текут я хочу умереть

Лодки причалили  
Всадники выбрали место  
Где эхо реке отвечало  
И все закричали  
Стали вопросы забавные задавать ему наперебой  
И эхо в ответ отзывалось так кстати  
Что все хохотали  
А мёртвый меж тем обращался к живой

Мы вместе не будем бояться разлуки  
Над нами сомкнётся вода  
Что же вы плачете что же дрожат ваши руки  
Нам сюда не вернуться уже никогда

И вот мы ступили на землю пора и назад  
Влюблённые обнимались  
Парочки отставали  
И отстав целовались

---

Мертвецы выбирали живых  
А живые  
Мёртвых  
И порою кусты можжевельника  
Их пугали как привидения

Впалые щёки надув  
Дети свистели в свистульки  
Из бузины  
И калины  
А в это время служивые  
Пели тирольские песни  
Перекликаясь как будто  
На горных склонах

В городе  
Наша честная компания стала редеть  
Все говорили друг другу  
Пока  
До завтра  
До скорого  
Многие заходили в пивнушки  
А кто-то  
В мясную лавку  
Надеясь что-нибудь взять на ужин

И вот я остался один с мертвецами  
Которые тут же отправились прямо  
На кладбище  
Где  
Под аркадами дома  
Я снова увидел их всех  
За большими стёклами  
Неподвижных  
Лежащих  
И принаряженных к похоронам

Мёртвые так и остались в неведении  
В чём же они принимали участие  
Но живые хранили воспоминание  
Об этом неожиданном счастье  
И достоверном настолько  
Что они боялись его лишиться

И стали жить они так благородно  
Что даже тот кто ещё накануне  
На них поглядывал как на равных  
Или скорее высокомерно  
Теперь восхищался их богатством  
Их могуществом их интеллектом  
Поскольку ничто вас не возвышает так  
Как любовь к мертвецу или к мёртвой  
От этой любви замороженной в память  
И от прошлого не отторжимой  
Становятся столь чисты и сильны  
И от напастей защищены  
Что ни в ком не нуждаются больше

<sup>8</sup> ...Дант тоже звал навсегда утопить Флоренцию, как бабу, рылом в выгребной яме...

Данте Алигьери. «Письмо Генриху VII, императору»:

---

...Неужели ты не знаешь, о превосходнейший из владык, и не видишь с высоты своего величия, где нора, в которой живет, не боясь охотников, грязная лисица? Конечно, не в бурном По и не в твоём Тибре злодейка утоляет жажду, но ее морда без конца отравляет воды Арно, и Флоренцией (может быть, тебе неизвестно о том?) зовется пагубная эта чума. Вот змея, бросающаяся на материнское лоно; вот паршивая овца, которая заражает стадо своего хозяина; вот свирепая и злобная Мирра, что вся пылает, стремясь в объятия отца своего Кинира; вот разъяренная Амата, которая, воспрепятствовав заключению удобного судьбе брака, не убоилась призвать в зятя того, кто не был угоден судьбе; объятая безумием, она подстрекала его к битве и в конце концов, искупая свою вину, повесилась. И действительно, со змеиной жестокостью пытается она растерзать мать, точа мятежные рога на Рим, который создал ее по своему собственному образу и подобию. И действительно, гняя, разлагаясь, она испускает ядовитые испарения, от которых тяжело заболели ничего не подозревающие соседние овцы. И действительно, она, обольщая соседей неискренней лестью и ложью, привлекает их на свою сторону и затем толкает на безумия. И действительно, она страстно жаждет отцовских объятий и в то же время при помощи гнусных соблазнов силится лишить тебя благосклонности понтифика, являющегося отцом отцов. И действительно, она противится велениям Господа, боготворя идола собственной прихоти; и, презирая законного короля своего, она не стыдится, безумная, обсуждать с чужим королем чужие законы, дабы быть свободной в дурных деяниях. Да сунет злодейка голову в петлю, в которой ей суждено задохнуться!...

<sup>9</sup> ... что знали они?

Эдуард Багрицкий. «Последняя ночь»:

Печальные дети, что знали мы,  
Когда у больших столов  
Врачи, постучав по впалой груди,  
"Годен!" - кричали нам...

Печальные дети, что знали мы,  
Когда прошагав весь день  
В портянках, потных до черноты,  
Мы падали на матрац.  
Дремота и та избегала нас.  
Уже ни свет ни заря  
Врывалась казарменная труба  
В отроческий покой.  
Не досыпая, не долбя,  
Молодость наша шла.

.....

Лужайка - да посредине сапог  
У пушечной колеи.  
Консервная банка раздроблена  
Прикладом. Зеленый суп  
Сочится из дырки. Бродячий пес  
Облизывает траву.  
Деревни скончались.  
Потоптан хлеб.  
И вечером - прямо в пыль  
Планеты стекают в крови густой  
Да смутно трубит горнист.  
Дымятся костры у больших дорог.  
Солдаты колотят вшей.  
Над Францией дым.  
Над Пруссией вихрь.  
И над Россией туман.

<sup>10</sup> Откуда летит ты?

---

Алексей Константинович Толстой. «Три побоища»:

...По синему морю клубится туман,  
Всю даль облака застилают,  
Из разных слетаются вороны стран,  
Друг друга, кружась, вопрошают:  
«Откуда летишь ты? ...»

<sup>11</sup> *Ведь это ты вписал эту великую страницу в историю Германии, жаль только, что она не осталась скрытой от чужих глаз.*

Генрих Гиммлер. «Речь на совещании группенфюреров СС в Познани, 4 октября 1943 г.»:

Я хочу также поговорить здесь с вами со всей откровенностью об очень серьезном деле. Между собой мы будем говорить совершенно откровенно, но публично никогда не будем упоминать об этом... Я сейчас имею в виду эвакуацию евреев, истребление еврейского народа. О таких вещах легко говорить: "Еврейский народ будет истреблен, - говорит каждый член нашей партии. - И это вполне понятно, ибо записано в нашей программе. Искоренение евреев, истребление их - мы делаем это". И вот они приходят - восемьдесят миллионов честных немцев, и у каждого есть свой порядочный еврей. Конечно, все другие - свиньи, но данный еврей - первосортный еврей. Ни один из тех, кто так говорит, не видел и не переживал это. Большинство из вас знает, что такое сто трупов, лежащих рядом, или пятьсот или тысяча лежащих трупов. Выдержать такое до конца и при том, за исключением отдельных случаев проявления человеческой слабости, остаться порядочными людьми - вот что закаляло нас. Эта славная страница нашей истории, которая не написана и никогда не будет написана.

<sup>12</sup> *Места здесь хватит.*

Чарльз Роберт Метьюрин. «Мельмот Скиталец»:

### СОН СКИТАЛЬЦА

Ему снилось, что он стоит на вершине, над пропастью, на высоте, о которой можно было составить себе представление, лишь заглянув вниз, где бушевал и кипел извергающийся пламя океан, где ревела огненная пучина, взвивая брызги пропитанной серою пены и обдавая спящего этим жгучим дождем. Весь этот океан внизу был живым; на каждой волне его неслась душа грешника; она вздымалась, точно обломок корабля или тело утопленника, испускала страшный крик и погружалась обратно в вечные глубины, а потом появлялась над волнами снова и снова должна была повторять свою попытку, заранее обреченную на неудачу!

В каждом клокочущем буране томилось живое существо, которому не дано было умереть; в мучительной надежде поднималась на огненном гребне сокрытая в нем душа; в отчаянии ударялась она о скалу, присоединяла свой никогда не умолкающий крик к рокоту океана и скрывалась, чтобы выплыть еще на мгновение, а потом снова кануть ко дну - и так до скончания века!

Вдруг Скиталец почувствовал, что падает, что летит вниз и - застревает где-то на середине. Ему снилось, что он стоит на утесе, с трудом сохраняя равновесие; он посмотрел ввысь, но верхний пласт воздуха (ибо никакого неба там быть не могло) нависал непроницаемую крошечной тьмой. И, однако, он увидел там нечто еще чернее всей этой черноты - то была протянутая к нему огромная рука; она держала его над самым краем адской бездны и словно играла с ним, в то время как другая такая же рука, каждое движение которой было непостижимым образом связано с движениями первой, как будто обе они принадлежали одному существу, столь чудовищному, что его невозможно было представить себе даже во сне, указывала на установленные на вершине гигантские часы; вспышки пламени озаряли огромный их циферблат. Он увидел, как единственная стрелка этих таинственных часов повернулась; увидел, как она достигла назначенного предела - полутораста лет (ибо на этом необычном циферблате отмечены были не часы, а одни лишь столетия). Он вскрикнул и сильным толчком, какие мы часто ощущаем во сне, вырвался из державшей его руки, чтобы остановить роковую стрелку.

---

От этого усилия он упал и, низвергаясь с высоты, пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы спастись. Но падал он отвесно, удержаться было невозможно - скала оказалась гладкой как лед; внизу бушевало пламя! Вдруг перед ним мелькнуло несколько человеческих фигур: в то время как он падал, они поднимались все выше. Он кидался к ним, пытаясь за них уцепиться - за одну, за другую... но все они, одна за другой, покидали его и поднимались ввысь.

Он обернулся последний раз; взгляд его остановился на часах вечности; поднятая к ним гигантская черная рука, казалось, подталкивала стрелку вперед; наконец она достигла назначенной ему цифры; он упал, окунулся в огненную волну, пламя охватило его, он закричал! Волны рокотали уже над его головой; он погружался в них все глубже, а часы вечности заиграли свой зловещий мотив: "Примите душу Скитальца!". И тогда огненная пучина ответила, плещась об алмазную скалу: "Места здесь хватит!".

<sup>13</sup> *то, о чем заплачет простой человек ... родина...*

Энциклопедия Дидро и Д'аламбера. Статья «Родина» (автор — Луи, шевалье де Жокур):

Аббат Куайе говорит: «Побуждаемый усердием, я во многих местах допытывался у подданных всех рангов: граждане, спрашивал я, известна ли вам родина? Человек из народа плакал, чиновник хмурил брови, храня мрачное молчание, военный бранился, придворный издевался надо мной, финансист спросил, не означает ли это название нового откупа. Лица духовного звания указывали, подобно Анаксагору, перстом на небо, когда их спрашивали, где ваша родина: неудивительно, что на этой земле они ее не чествуют».

<sup>14</sup> *...как будто он ... сам был птицей.*

Сэмюэль Тейлор Кольридж. «Сказание о старом мореходе»:

"В толпе шумят, скрипит канат,  
На мачте поднят флаг.  
И мы плывем, вот отчий дом,  
Вот церковь, вот маяк.

И Солнце слева поднялось,  
Прекрасно и светло,  
Сияя нам, сошло к волнам  
И справа в глубь ушло.

.....

И вдруг из царства зимних вьюг  
Примчался лютый шквал.  
Он злобно крыльями нас бил,  
Он мачты гнул и рвал.

Как от цепей, от рабьих уз,  
Боясь бича изведать вкус,  
Бежит, сраженье бросив, трус.  
Наш бриг летел вперед,  
Весь в буре порванных снастей,  
В простор бушующих зыбей,  
Во мглу полярных вод.

Вот пал туман на океан, —  
О, чудо! — жжет вода!  
Плывут, горя, как изумруд,  
Сверкая, глыбы льда.

Средь белизны, ослеплены,  
Сквозь дикий мир мы шли  
В пустыни льда, где нет следа  
Ни жизни, ни земли.

Где справа лед и слева лед,

---

Лишь мертвый лед кругом,  
Лишь треск ломающихся глыб,  
Лишь грохот, гул и гром!

И вдруг, чертя над нами круг,  
Пронесся Альбатрос.  
И каждый, белой птице рад,  
Как будто был то друг иль брат,  
Хвалу Творцу вознес.

Он к нам слетал, из наших рук  
Брал непривычный корм,  
И с грохотом разверзся лед,  
И наш корабль, войдя в пролет,  
Покинул царство льдистых вод,  
Где бесновался шторм!

Попутный ветер с юга встал,  
Был с нами Альбатрос,  
И птицу звал, и с ней играл,  
Кормил ее матрос!

Лишь день уйдет, лишь тень падет,  
Наш гость уж на корме.  
И девять раз в вечерний час  
Луна, сопровождая нас,  
Всходила в белой тьме".

"Как странно смотришь ты, Моряк,  
Иль бес тебя мутит?  
Господь с тобой!" — "Моей стрелой  
Был Альбатрос убит.

---

<sup>15</sup> *Представьте ... блистающий звездами туман...*

Михаил Лермонтов. «Ангел»:

По небу полуночи ангел летел,  
И тихую песню он пел,  
И месяц, и звезды, и тучи толпой  
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов  
Под кущами райских садов,  
О Боге великом он пел, и хвала  
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес  
Для мира печали и слез;  
И звук его песни в душе молодой  
Остался - без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,  
Желанием чудным полна,  
И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.

<sup>16</sup> *Представьте туманный рассвет ... Ахтунг!*

Альбер Камю. «Письма к немецкому другу»:

Это случилось во Франции, неважно, где именно. Однажды на заре грузовик с вооруженными солдатами увозит из одной известной мне тюрьмы одиннадцать французов на кладбище, где вы должны расстрелять их. Из этих одиннадцати лишь пятеро или шестеро действительно что-то сделали для этого: листовки, несколько тайных встреч и -- самое тяжкое -- неповиновение. Эти неподвижно сидят в глубине кузова; их гложет страх, конечно, но, осмелюсь сказать, страх обычный, тот, что всегда леденит человека перед лицом неизвестности,-- страх, который соседствует с мужеством. Остальные не совершили ровно ничего. И сознание того, что они умрут по ошибке, падут жертвой чьего-то безразличия, делает для них этот миг еще более мучительным. Среди них находится шестнадцатилетний мальчик. Вам знакомы лица наших подростков, и я не стану описывать вам его. Мальчика терзает ужас, он мается им, позабыв стыд. Оставьте свою презрительную улыбку: у него зуб на зуб не попадает от страха. Но вы посадили рядом с ним немецкого духовника, чья задача -- облегчить этим людям близящийся конец. Могу сказать с полным правом: людям, которых сейчас станут убивать, разговоры о будущей жизни совершенно безразличны. Слишком уж трудно поверить, что общая могила - не конец всему, и пленники в грузовике упорно молчат. Поэтому исповедник занялся мальчиком, забившимся, как зверек, в угол машины. Этот поймет его легче, чем взрослые. Мальчик отвечает, он цепляется за этот утешающий голос, надежда забрезжила ему. В самом немом из всех ужасов бывает иногда достаточно, чтобы кто-нибудь подал голос: а вдруг все уладится?! "Я ничего не сделал",-- говорит мальчик. "Да-да,-- отвечает священник,-- но не об этом речь. Ты должен приготовиться достойно принять смерть".-- "Да не может же так быть, чтобы они не поняли!" -- "Я твой друг, и я, конечно, тебя понимаю. Но теперь слишком поздно. Я не оставлю тебя до конца, и наш добрый Господь также. Ты увидишь, это будет легко". Мальчик отвернулся. Тогда священник заговаривает о Боге. Веруешь ли ты в него? Да, он верует. Ну тогда ты должен знать, что жизнь не имеет значения перед вечным покоем, который тебя ожидает. Но мальчику внушает ужас именно этот вечный покой. "Я твой друг",-- повторяет исповедник. Остальные по-прежнему молчат. Надо подумать и о них тоже. Священник приближается к их немой кучке и на минуту отворачивается от подростка. Грузовик с мягким чавканьем катит по влажной от ночной росы дороге. Представьте себе этот серый предрассветный час, запах немых тел в кузове, невидимые пленникам поля, которые угадываются лишь по звукам: звяканью упряжи, птичьему вскрику. Подросток прислоняется к брезентовому чехлу, и тот слегка поддается, открыв щель между бортом грузовика и брезентом. При желании в нее можно протиснуться и спрыгнуть с машины. Священник сидит спиной к нему, солдаты впереди зорко глядят в дорогу, чтобы не заплутаться в предутреннем сумраке. Мальчик, не раздумывая, приподнимает брезент, проскальзывает в щель, спрыгивает вниз. Еле

---

слышный звук падения, за ним -- шорох поспешных шагов на шоссе, дальше тишина. Беглец оказался в поле, где вспаханная земля приглушает шум. Но хлопанье брезента и резкий, влажный, утренний холодок, ворвавшийся в кузов, заставляет обернуться и священника, и приговоренных. С минуту священник оглядывает людей, которые в свою очередь молча смотрят на него. Один короткий миг, и в течение его слуга божий должен решить, с кем он -- с палачами или с мучениками. Но он не раздумывает, он уже заколотил в заднюю стенку кабины. "Achtung!" Тревога поднята. Два солдата врываются в кузов и берут пленников на мушку. Двое других спрыгивают наземь и бегут через поле. В нескольких шагах от грузовика священник, застыв как изваяние, пытается разглядеть сквозь туманное марево, что происходит. Люди в кузове молча прислушиваются: шум преследования, сдавленные крики, выстрел, тишина, потом приближающиеся голоса и, наконец, глухой топот. Мальчик пойман. Пуля пролетела мимо, но он остановился сам, внезапно обессилев, испугавшись этого ватного, непроницаемого тумана. Он не может идти сам, солдаты волокут его. Они не били беглеца, ну разве что слегка. Главное ведь впереди. Мальчик не глядит ни на священника, ни на остальных. Священник садится в кабину рядом с шофером. Его место в кузове занимает вооруженный солдат. Мальчик, брошенный в угол, не плачет. Он молча глядит на дорогу, мелькающую между брезентовым чехлом и бортом машины. Занимается рассвет.

<sup>17</sup> *А теперь представьте голод ... скачущий по оглоданному лесу призрак зайца.*

Велемир Хлебников. «Голод»:

Почему лоси и зайцы по лесу скачут,  
Прочь удаляясь?  
Люди съели кору осины,  
Елей побегии зеленые...  
Жены и дети бродят по лесу  
И собирают березы листы  
Для щей, для окрошки, борща,  
Елей верхушки и серебряный мох,—  
Пицца лесная.  
Дети, разведчики леса,  
Бродят по рощам,  
Жарят в костре белых червей,  
Зайчью капусту, гусениц жирных  
Или больших пауков — они слаще орехов.  
Ловят кротов, ящериц серых,  
Гадов шипящих стреляют из лука,  
Хлебцы пекут из лебеды.  
За мотыльками от голода бегают:  
Целый набрали мешок,  
Будет сегодня из бабочек борщ —  
Мамка сварит.  
На зайца, что нежно прыжками скачет по лесу,  
Дети, точно во сне,  
Точно на светлого мира видение,  
Восхищенные, смотрят большими глазами,  
Святыми от голода,  
Правде не верят.  
Но он убегает проворным виденьем,  
Кончиком уха чернея.  
Вдогонку ему стрела полетела,  
Но поздно — сытный обед ускакал.  
А дети стоят очарованные...  
«Бабочка, глянь-ка, там пролетела...»  
Лови и беги! А там голубая!..  
Хмуру в лесу. Волк прибежал издалека  
На место, где в прошлом году  
Он скушал ягненка.  
Долго крутился юлой, всё место обнюхал,  
Но ничего не осталось —



---

Дела муравьев,— кроме сухого копытца.  
Огорченный, комковатые ребра поджал  
И утек за леса.  
Там тетеревов алобровых и седых глухарей,  
Заснувших под снегом, будет лапой  
Тяжелой давить, брызгами снега осыпан...  
Лисонька, огневка пушистая,  
Комочком на пень взобралась  
И размышляла о будущем...  
Разве собакою стать?  
Людам на службу пойти?  
Сеток растянуто много —  
Ложись в любую...  
Нет, дело опасное.  
Съедят рыжую лиску,  
Как съели собак!  
Собаки в деревне не лают...  
И стала лисица пуховыми лапками мыться.  
Взвивши кверху огненный парус хвоста.  
Белка сказала, ворча:  
«Где же мои орехи и жёлуди?—  
Скушали люди!»  
Тихо, прозрачно, уж вечерело,  
Лепетом тихим сосна целовалась  
С осинкой.  
Может, назавтра их срубят на завтрак.

<sup>18</sup> *Когда человек мерещится не человеком ... каплями течет кровь.*

Владимир Маяковский. «Два не совсем обычных случая».

...  
Кто из петербуржцев  
забудет 18-й год?!  
Наддохлым лошадыем вороны кружатся.  
Лошадь за лошадыю падает на лед.  
Заколачиваются улицы ровные.  
Хвостом виляя,  
на перекрестках  
собаки дрессированные  
просили милостыню, визжа и лая.  
Газетам писать не хватало духу -  
но это ж передавалось изустно:  
старик  
удушил  
жену-старуху  
и ел частями,  
Злился -  
невкусно.  
Слухи такие  
и мрущим от голода,  
и сытым сумели глотки свесть.  
Из каждой поры огромного города  
росло ненасытное желание есть.  
От слухов и голода двигаясь еле,  
раз  
сам я,  
с голодной тоской,  
остановился у витрины Эйлера -  
цветочный магазин на углу Морской.  
Малы - аж не видно! - цветочные точки,

---

нули ж у цен  
необъятны длиной!  
По булке должно быть в любом лепесточке.  
И вдруг,  
смотрю,  
меж витриной и мною -  
фигурка человечья.  
Идет и валится.  
У фигурки конская голова.  
Идет.  
И в собственные ноздри  
пальцы  
ткнула.  
Три или два.  
Глаза открытые мухи обсели,  
а сбоку  
жила из шеи торчала.  
Из жилы  
капли по улицам сеялись  
и стыли черно, кровянея сначала.  
Смотрел и смотрел на ползущую тень я,  
дрожа от сознания невыносимого,  
что полуживотное это -  
виденье! -  
что это  
людей вымирающих символ.  
От этого ужаса я - на попятный.  
Ищу машинально чернеющий след.  
И к туше лошажьей приплелся по пятнам;  
Где ж голова?  
Головы и нет!  
А возле  
с каплями крови присохлой,  
блестел вершок перочинного ножичка -  
должно быть,  
тот  
работал над дохлой  
и толстую шею кромсал понемножечко  
Я понял:  
не символ,  
стихом позолоченный,  
людская  
реальная тень прошагала.  
Быть может,  
завтра  
вот так же точно  
я здесь заработаю, скалясь шакалом.  
...

<sup>19</sup> *На страшной глубине, где человек перестает быть человеком...*

Александр Блок. «О назначении поэта»:

На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, — катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир.

<sup>20</sup> *Не то тюрьма, не то завод ... и в самом деле во что-то преобразуются.*

---

Леонид Мартынов. «Поэзия как волшебство»:

Тот город Омб тонул в пыли.  
Сквозь город непрерывно шли стада рогатого скота  
к воротам боен.  
Густота  
Текущей крови, скорбный рев ведомых на убой быков,  
биенье трепетных сердец закальваемых овец —  
Вот голос Омба был каков.  
И в губернаторский дворец, в расположение полков,  
В пассаж, что выстроил купец, к жене чиновничьей  
в альков,  
В архиерейский тихий сад — повсюду крови терпкий  
смад, несомый ветерком, проник.  
И заменял он аромат, казался даже сладковат для тех,  
кто к этому привык.  
Такая жизнь уже давно шла в Омбе. И немудрено,  
неудивительно, что здесь,  
Где город кровью пахнет весь, и человечья кровь текла

<sup>21</sup> *от чего утешаются только последней радостью нищих и обездоленных...*

Притчи Соломона. 31:

Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям — сикеру ... Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею; пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании

А. М. Лосев «Эстетика Возрождения»:

Дело в том, что такого рода смех не просто относится к противоречивому предмету, но, кроме того, он еще имеет для Рабле и вполне самодовлеющее значение: он его успокаивает, он излечивает все горе его жизни, он делает его независимым от объективного зла жизни, он дает ему последнее утешение, и тем самым он узаконивает всю эту комическую предметность, считает ее нормальной и естественной, он совершенно далек от всяких вопросов преодоления зла в жизни. И нужно поставить последнюю точку в этой характеристике, которая заключается в том, что в результате такого смеха Рабле становится рад этому жизненному злу, т.е. он не только его узаконивает, но еще и считает своей последней радостью и утешением. Только при этом условии эстетическая характеристика раблезианского смеха получает свое окончательное завершение.

<sup>22</sup> *А вот ведь заведется ж такая гадина ... оперный нищий...*

Теодор Банвиль. «Mes souvenirs»:

Как-то раз Леметр, весьма недовольный своим костюмом и к тому же весьма голодный, пересек бульвар, чтобы купить в лавке кусок пирога. Вдруг актер остановился в радостном изумлении ... неизвестный прохожий, в серой продавленной шляпе ... стоял и ел пирог. ... На нем было кашне, завязанное наподобие длинного галстука, который, по тогдашней моде, целиком закрывал рубашку. Но в данном случае ярко-красное шерстяное кашне, доходившее до подбородка, как раз скрывало отсутствие рубашки. На его белом жилете болтался на черном шнурке круглый лорнет из фальшивого хрусталя и поддельного золота. Из одного кармана его зеленого фрака с длинными фалдами, украшенного посеребренными пуговицами, но ... истертого и испещренного дырами ... желтыми и красными волнами ниспадали лохмотья, некогда бывшие шейным платком. На правой руке неизвестного, в которой он держал пирог, торчал обрывок, точнее, призрак изодранной в клочья белой перчатки, которую он, казалось, гордо выставлял напоказ, а другой — голый — рукой он сжимал огромную, изогнутую, диковинную палку... Все это вызывало восхищение, но не это было главное: его штаны из красного сукна — вот чем следовало любоваться... Когда-то это были военные брюки с кожаными леями, но теперь кто-то бесстыдно залатал их кусками материи самых неподходящих цветов; и каким приемом, каким волшебством,

---

каким чудом эти кавалерийские штаны, явно скроенные широкими и просторными, были превращены в штаны, сидевшие в обтяжку!

Из под этого чуда выглядывали белые чулки ... на ногах незнакомца, евшего пирог, были женские туфли! Федерик молчал, пораженный, с восхищением и ужасом, не смея пошевелиться. ... Он нашел, увидел вол плоти существо, которое он – поэт и актер – должен был ввести в воображаемый мир, того, кого будет потом рисовать Домье; того, кто будет потом Сидом и Скапеном современного театра, - словом, он нашел Робера Макера.

<sup>23</sup> *друзья, в дырявых шляпах, в продранных пиджаках...*

Николай Заболоцкий. «Прощание с друзьями»:

В широких шляпах, длинных пиджаках,  
С тетрадами своих стихотворений,  
Давным-давно рассыпались вы в прах,  
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,  
Где всё разъято, смешано, разбито,  
Где вместо неба - лишь могильный холм  
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке  
Поёт синклит беззвучных насекомых,  
Там с маленьким фонариком в руке  
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?  
Легко ли вам? И всё ли вы забыли?  
Теперь вам братья - корни, муравьи,  
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры - цветики гвоздик  
Соски сирени, щепочки, цыплята...  
И уж не в силах вспомнить ваш язык  
Там наверху оставленного брата.

Ему ещё не место в тех краях,  
Где вы исчезли, лёгкие, как тени,  
В широких шляпах, длинных пиджаках,  
С тетрадами своих стихотворений.

<sup>24</sup> *мы были молодыми ... умереть молодым — хорошо.*

Николай Некрасов. «Не рыдай так безумно над ним...»:

Не рыдай так безумно над ним,  
Хорошо умереть молодым!

Беспощадная пошлость ни тени  
Положить не успела на нем,  
Становись перед ним на колени,  
Украшай его кудри венком!  
Перед ним преклониться не стыдно,  
Вспомни, сколько пали в борьбе,  
Сколько раз уже было тебе  
За великое имя обидно!  
А теперь его слава прочна:  
Под холодною крышкою гроба

---

На нее не наложат пятна  
Ни ошибка, ни сила, ни злоба...

Не хочу я сказать, что твой брат  
Не был гордою волей богат,

Но, ты знаешь: кто ближнего любит  
Больше собственной славы своей,  
Тот и славу сознательно губит,  
Если жертва спасает людей.  
Но у жизни есть мрачные силы -  
У кого не слабели шаги  
Перед дверью тюрьмы и могилы?  
Долговечность и слава - враги.

Русский гений издавна венчает  
Тех, которые мало живут,  
О которых народ замечает:  
"У счастливого недруги мрут,  
У несчастного друг умирает..."

<sup>25</sup> ...ведь здесь не Париж, здесь очень трудно бедной женщине, даже если она не только работает, но и продается.

Владимир Маяковский. «Парижанка»:

Вы себе представляете  
        парижских женщин  
с шеей разжемчуженной,  
        разбриллиантенной  
        рукой...  
Бросьте представлять себе!  
        Жизнь —  
        жестче —  
у моей парижанки  
        вид другой.  
Не знаю, право,  
        молода  
        или стара она,  
До желтизны  
        отшлифованная  
        в лощенном хамье.  
Служит  
        она  
        в уборной ресторана —  
маленького ресторана —  
        "Гранд-Шомьер".  
Выпившим бургундского  
        может захотеться  
для облегчения  
        пойти пройтись.  
Дело мадмуазель  
        подавать полотенце,  
она  
        в этом деле  
        просто артист.  
Пока  
        у трюмо  
        разглядываешь прыщик,

---

она  
    разулыбив  
        облущенный рот,  
пудрой попудрит,  
        духами попрыщует,  
подаст пипифакс  
        и лужу подотрет.  
Раба чревоугодий  
        торчит без солнца,  
в клозетной шахте  
        по суткам  
            клопея,  
за пятьдесят сантимов!  
        (по курсу червонца  
с мужчины  
        около  
            четырёх копеек).  
Под умывальником  
        ладони омывая,  
дыша  
        диковиной  
        парфюмерных зелий,  
над мадмуазелью  
        недоумевая,  
хочу  
        сказать  
        мадмуазели:  
— Мадмуазель,  
        ваш вид,  
            извините,  
                жалок.  
На уборную молодость  
        губить не жалко вам?  
Или  
        мне  
        наврали про парижанок,  
или  
        вы, мадмуазель,  
            не парижанка.  
Выглядите вы  
        туберкулезно  
            и вяло,  
Чулки шерстяные...  
        Почему не шелка?  
Почему  
        не шлют вам  
            пармских фиалок  
благородные мусью  
        от полного кошелька? —  
Мадмуазель молчала,  
        грохот наваливал  
на трактир,  
        на потолок,  
        на нас.  
Это,  
        кружа  
        веселье карнавалово,  
весь  
        в парижанках  
        гудел Монпарнас.

---

Простите, пожалуйста,  
    за стих раскрежещенный  
и  
    за описанные  
        вонючие лужи,  
но очень  
    трудно  
        в Париже  
            женщине,  
если  
    женщина  
        не продается,  
            а служит.

<sup>26</sup> Читал мне про зоопарк ... Морж похож на усталую красавицу.

Велемир Хлебников. «Зверинец»:

О Сад, Сад!  
Где железо подобно напоминающему братьям, что они братья, и  
останавливающему кровопролитную схватку.  
Где немцы ходят пить пиво.  
А красотки продавать тело.  
Где орлы сидят подобны вечности, означенной сегодняшним еще лишенным  
вечера днем.  
Где верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и  
затаил ужимку Китая.  
Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем.  
Где наряды людей баскующие.  
Где люди ходят насупившись и сумные.  
А немцы цветут здоровьем.  
Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а черно-желтый клюв —  
осенней рощице, немного осторожен и недоверчив для него самого.  
Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинского  
камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков, и  
все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.  
Где у австралийских птиц хочется взять хвост и, ударяя по струнам, воспеть  
подвиги русских.

---

Где мы сжимаем руку, как если бы в ней был меч, и шепчем клятву: отстоять русскую породу ценой жизни, ценой смерти, ценой всего.

Где обезьяны разнообразно злятся и выказывают разнообразные концы туловища и, кроме печальных и кротких, вечно раздражены присутствием человека.

Где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть, влагая древний смысл в правду: — есть хоцца! поесть бы! — и приседают, точно просят милостыню.

Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказа сторожа.

Где нетопыри висят опрокинуто, подобно сердцу современного русского.

Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой.

Где низкая птица влачит за собой золотой закат со всеми углями его пожара.

Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого последователя пророка и читаем сущность ислама.

Где мы начинаем думать, что серы — затихающие струи волн, разбег которых — виды.

И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога.

Где звери, устав рыкать, встают и смотрят на небо. Где живо напоминает мучения грешников тюлень, с воплем носящийся по клетке.

Где смешные рыбкрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя.

Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг.

Сад.

Где орел жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребенок.

Где лайка растрчивает сибирский пыл, исполняя старинный обряд родовой вражды при виде моющей кошки.

Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, придавая глазам самодовольное или веселое выражение, получив требуемое.

Где заввысокая жирафа стоит и смотрит.

Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов посмотреть на небо в ожидании грозы.

Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий.

Где косматый, как девушка, орел смотрит на небо, потом на лапу.

Где видим дерево-зверя в лице неподвижно стоящего оленя.

Где орел сидит, повернувшись к людям шеей и смотря в стену, держа крылья странно распущенными. Не кажется ли ему, что он парит высоко над горами? Или он молится? Или ему жарко?

Где лось целует сквозь изгородь плоскорогого буйвола.

Где олени лижут холодное железо.

Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные лапы с движениями человека, завязанного в мешок, и подобный чугунному памятнику, вдруг нашедшему в себе приступы неудержимого веселья.

Где косматовласый «Иванов» вскакивает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его «товарищ».

Где львы дремлют, опустив лица на лапы.

Где олени неустанно стучат об решетку рогами и колотятся головой.

Где утки одной породы в сухой клетке поднимают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный — имеет ли оно ноги и клюв? — божеству молебн.

Где цесарки иногда звонкие сударыни с оголенной и наглой шеей и пепельно-серебряным телом, обшитые заказами у той же портнихи, которая обслуживает звездные ночи.

Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и вывожу на воду спрятавшегося монгола, и мне хочется отомстить ему за Порт-Артур.

Где волки выражают готовность и преданность скошенными внимательно глазами.

Где, войдя в душную обитель, в которой трудно быть долго, я осыпаю единодушным «дюрьяк!» и кожурой семян праздных попугаев, болтающих гладко.

Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после падает в воду, а когда он вскатывается снова на помост,



---

на его жирном могучем теле показывается усатая щетинистая с гладким лбом голова Ницше.

Где челюсть у белой высокой черноглазой ламы, и у плоскорогого низкого буйвола, и у прочих жвачных движется ровно направо и налево, как жизнь страны.

Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем притаился Иоанн Грозный.

Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками, оком имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в прирожденном искусстве, с которым они подхватывают на лету брошенную тюленям еду.

Где вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола, и вспоминая, что глаз казака, глубоко запавший под заломленной бровью, и этой птицы — родича царственных птиц — один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле. О сокола, побивающие грудью цапель! И острый протянутый кверху клюв ее! И булавка, на которую насекомых садит редко носитель чести, верности и долга!

Где красная, стоящая на лапчатых ногах утка заставляет вспомнить о черепахах тех павших за родину русских, в костяках которых ее предки вили гнезда.

Где в золотистую чуприну птиц одного вида вложен огонь той силы, какая свойственна лишь давшим обет безбрачия.

Где Россия произносит имя казака, как орел клекот.

Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю. О серые морщинистые горы! Покрытые лишаями и травами в ущельях!

Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в часослов «Слово о полку Игореве» во время пожара Москвы.

<sup>27</sup> *превращаясь как будто в некое соединение птицы, цветка и воздуха ... и это одновременно.*

Владимир Маяковский. «Война и мир»:

... Не поймешь —  
это воздух,  
цветок ли,  
птица ль!  
И поет,  
и благоухает,  
и пестрое сразу, —  
но от этого  
костром разгораются лица  
и сладчайшим вином пьянеет разум.

<sup>28</sup> *Большому и грязному человеку подарили два поцелуя.*

Владимир Маяковский. «Трагедия»:

Большому и грязному человеку  
подарили два поцелуя.  
Человек был неловкий,  
не знал,  
что с ними делать,  
куда их деть.  
Город,  
весь в празднике,  
возносил в соборах аллилуйя,  
люди выходили красивое надеть.  
А у человека было холодно,  
и в подошвах дырочек овальцы.

---

Он выбрал поцелуй,  
который побольше,  
и надел, как калошу.  
Но мороз ходил злой,  
укусил его за пальцы.  
"Что же,-  
рассердился человек,-  
я эти ненужные поцелуи брошу!"  
Бросил.  
И вдруг  
у поцелуя выросли ушки,  
он стал вертеться,  
тоненьким голосочком крикнул:  
"Мамочку!"  
Испугался человек.  
Обернул лохмотьями души своей дрожащее тельце,  
понес домой,  
чтобы вставить в голубенькую рамочку.  
Долго рылся в пыли по чемоданам  
(искал рамочку).  
Оглянулся -  
поцелуй лежит на диване,  
громадный,  
жирный,  
вырос,  
смеется,  
бесится!  
"Господи! -  
заплакал человек,-  
никогда не думал, что я так устану.  
Надо повеситься!"  
И пока висел он,  
гадкий,  
жаленький,-  
в будуарах женщины  
- фабрики без дыма и труб -  
миллионами выделявали поцелуи,  
всякие,  
большие,  
маленькие,-  
мясистыми рычагами шлепающих губ.

<sup>29</sup> У нее странная манера произносить слова. ... фраза вырастает в монолог.

Pierre Berton. «Souvenirs de la vie de Theatre»:

Этот органический недостаток, этот дефект голосового аппарата, вынуждая <Леметра> к медленному и подчеркнутому произнесению текста, к преувеличенности жеста и взгляда, создали из него идеального исполнителя великих произведений романтического театра... Каждый слог, срывающийся с его уст, разрастался в пышность целого самостоятельного слова; интервалы, наполненные таинственной глубиной, отделяли слова друг от друга и придавали им такую значительность, что они начинали казаться целыми фразами, а простейшие фразы – целыми монологами. Эта странная манера произносить слова представляла в области декламации подобие оптического феномена линз, через которые мелкое насекомое кажется нам размером со слона. Подобно тому как форма вообще увлекает за собой содержание, так и здесь пышность произнесения слов воздымала мысли. Простое «добрый день, мсье», казалось, содержало в себе целый мир, а банальные фразы ... приобретали богатство объема и звучность стихов Виктора Гюго.

<sup>30</sup> чудесные, дивные, неистовое цветение, один вздох...

---

Анна Ахматова. «De profundis...»:

De profundis... Мое поколение  
Мало меду вкусило. И вот  
Только ветер гудит в отдаленье,  
Только память о мертвых поет.  
Наше было не кончено дело,  
Наши были часы сочтены,  
До желанного водораздела,  
До вершины великой весны,  
До неистового цветенья  
Оставалось лишь раз вздохнуть...  
Две войны, мое поколение,  
Освещали твой страшный путь.

<sup>31</sup> *Умирующую, как ... молодая девушка на бегу.*

Иоганн Вольфганг Гете. Из «Вильгельма Мейстера»:

Я покрасуюсь в платье белом,  
Покамест сроки не пришли,  
Покамест я к другим пределам  
Под землю не ушла с земли.

Свою недолгую отсрочку  
Я там спокойно пролежу  
И сброшу эту оболочку,  
Венок и пояс развяжу.

И, встав, глазами мир окину,  
Где силам неба все равно,  
Ты женщина или мужчина,  
Но тело все просветлено.

Беспечно дни мои бежали,  
Но оставлял следы их бег.  
Теперь, состарясь от печали,  
Хочу помолодеть навек.

<sup>32</sup> *где-нибудь в Сибири, зимой ... пьет, моя окровавленную пасть, волк.*

Николай Заболоцкий. «Лесное озеро»:

Опять мне блеснула, окована сном,  
Хрустальная чаша во мраке лесном.

Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья,  
Где пьют насекомые сок из растенья,  
Где буйствуют стебли и стонут цветы,  
Где хищными тварями правит природа,  
Пробрался к тебе я и замер у входа,  
Раздвинув руками сухие кусты.

В венце из кувшинок, в уборе осок,  
В сухом ожерелье растительных дудок  
Лежал целомудренной влаги кусок,  
Убежище рыб и пристанище уток.  
Но странно, как тихо и важно кругом!  
Откуда в трущобах такое величье?

---

Зачем не беснуется полчище птичье,  
Но спит, убаюкано сладостным сном?  
Один лишь кулик на судьбу негодует  
И в дудку растенья бессмысленно дует.

И озеро в тихом вечернем огне  
Лежит в глубине, неподвижно сияя,  
И сосны, как свечи, стоят в вышине,  
Смыкаясь рядами от края до края.  
Бездонная чаша прозрачной воды  
Сияла и мыслила мыслью отдельной,  
Так око больного в тоске беспредельной  
При первом сиянье вечерней звезды,  
Уже не сочувствуя телу больному,  
Горит, устремленное к небу ночному.  
И толпы животных и диких зверей,  
Просунув сквозь елки рогатые лица,  
К источнику правды, к купели своей  
Склонились воды животворной напиться.

<sup>33</sup> *статуи людей ... наставшему человечеству животных.*

Николай Заболоцкий. «Школа жуков»:

...  
Мы поставим на улице сто изваяний.  
Из алебаstra сделанные люди,  
У которых отпилены черепные крышки.  
Мозг исчез,  
А в дыры стеклянных глазниц  
Натекла дождевая вода,  
И в ней купаются голуби, -  
Сто безголовых героев  
Будут стоять перед миром,  
Держа в руках окончанья своих черепов.  
Каменные шляпы  
Сняли они со своих черепов,  
Как бы приветствуя будущее!  
Сто наблюдателей жизни животных  
Согласились отдать свой мозг  
И переложить его  
В черепные коробки ослов,  
Чтобы сияло  
Животных разумное царство.  
Вот добровольная  
Расплата человечества  
Со своими рабами!  
Лучшая жертва,  
Которую видели звезды!  
Пусть же подобье героев  
Отныне стоит перед миром младенцев.  
Маленькие граждане мира  
Будут играть  
У каменных ног истуканов,  
Будут бросать в черепа мудрецов  
Гладкие камешки-гальки,  
Бульканье вод будут слушать  
И разговоры голубок,  
В каменной пазухе мира  
Жуков находить и кузнечиков.

---

Жуки с неподвижными крыльями,  
Зародыши славных Сократов,  
Катают хлебные шарики,  
Чтобы сделаться умными.  
Кузнечики - это часы насекомых,  
Считают течение времени,  
Сколько кому осталось  
Свой ум развивать  
И когда передать его детям.  
Так, путешествуя  
Из одного тела в другое,  
Вырастает таинственный разум.  
Время кузнечика и пространство жука -  
Вот младенчество мира.

<sup>34</sup> *эту страну ... пугало для народов*

Бертольд Брехт. «Германия»:

*Пусть другие говорят  
О своем позоре,  
Я же говорю с моим.*

О, Германия, бледная мать!  
Сидишь среди народов  
Вся вывалянная в дерьме,  
Среди изгаженных –  
Самая грязная.

Беднейшего из твоих сыновей  
Забил до смерти.  
Когда он взвыл от голода,  
Другие твои сыновья  
На него подняли руку,  
И об этом узнали все.

С поднятыми руками,  
Руками, поднятыми на родного брата,  
Они нагло вышагивают перед тобой  
И смеются тебе в лицо,  
И об этом известно всем.

В доме твоём  
Звериным рывком  
Изрыгают ложь.  
А правда молчит.  
Разве не так?

Почему тебя славословят твои тираны,  
Почему обвиняют тебя угнетенные?  
Эксплуатируемые  
Тычут в тебя пальцами,  
Эксплуататоры до небес возносят порядок,  
Задуманный в доме твоём.

Но при этом видят, что ты  
Подвернула стыдливо подол,  
Обагрённый кровью  
Лучшего из твоих сыновей.

Люди смеются, слушая речи,

---

Раздающиеся в доме твоём.  
Но тот, кто видит тебя, хватается за нож,  
Как при виде грабителя.

О, Германия, бледная мать!  
Благодари сыновей своих,  
Превративших тебя в посмешище  
Или в пугало  
Для народов всех стран!

<sup>35</sup> *я как тот чухонец на Валлен-Коски ... бросил в водопад куклу.*

Инокентий Анненский. «То было на Валлен-Коски...»:

То было на Валлен-Коски.  
Шел дождик из дымных туч,  
И желтые мокрые доски  
Сбегали с печальных круч.

Мы с ночи холодной зевали,  
И слезы просились из глаз;  
В утеху нам куклу бросали  
В то утро в четвертый раз.

Разбухшая кукла ныряла  
Послушно в седой водопад,  
И долго кружилась сначала  
Всё будто рвалася назад.

Но даром лизала пена  
Суставы прижатых рук, -  
Спасенье ее неизменно  
Для новых и новых мук.

Гляди, уж поток бурливый  
Желтеет, покорен и вял;  
Чухонец-то был справедливый,  
За дело полтину взял.

И вот уж кукла на камне,  
И дальше идет река...  
Комедия эта была мне  
В то серое утро тяжка.

Бывает такое небо,  
Такая игра лучей,  
Что сердцу обида куклы  
Обиды своей жалчей.

Как листья тогда мы чутки:  
Нам камень седой, ожив,  
Стал другом, а голос друга,  
Как детская скрипка, фальшив.

И в сердце сознание глубоко,  
Что с ним родился только страх,  
Что в мире оно одиноко,  
Как старая кукла в волнах...

---

<sup>36</sup> *как трепещет на ветру орешник ... о трудном времени.*

Бертольд Брехт. «В мрачные времена»:

Говорит не будут: «Когда орешник на ветру трепетал»,  
А скажут: «Когда маляр над рабочими измывался».  
Говорит не будут: «Когда мальчишка прыгучие камешки в реку швырял»,  
А скажут: «Когда готовились большие войны».  
Говорит не будут: «Когда женщина вошла в комнату»,  
А скажут: «Когда правители великих держав объединились против рабочих».  
Говорит не будут: «Были трудные времена».  
Но скажут: «Почему их поэты молчали?»

<sup>37</sup> *Зачем ты за трактирной стойкой?*

Владислав Ходасевич. «En Mariechen»:

Зачем ты за пивною стойкой?  
Пристала ли тебе она?  
Здесь нужно быть девицей бойкой,-  
Ты нездорова и бледна.

С какой-то розою огромной  
У нецелованных грудей,-  
А смертный венчик, самый скромный,  
Украсил бы тебя милей.

Ведь так прекрасно, так нетленно  
Скончаться рано, до греха.  
Родители же непременно  
Тебе отыщут жениха.

Так называемый хороший,  
И вправду - честный человек  
Перегрузит тяжелой ношей  
Твой слабый, твой короткий век.

Уж лучше бы - я еле смею  
Подумать про себя о том -  
Попастся бы тебе злодею  
В пустынной роще, вечером.

Уж лучше в несколько мгновений  
И стыд узнать, и смерть принять,  
И двух истлений, двух растлений  
Не разделять, не разлучать.

Лежать бы в платьице измятом  
Одной, в березняке густом,  
И нож под левым, лиловатым,  
Еще девическим соском.

<sup>38</sup> *И что это, «прилавок или алтарь»? ... Торговец молится, барышничает поп?*

Бертольд Брехт. «Шведский пейзаж»:

Под серыми соснами – дом на снос.  
На свалке – полированный белый ларь.  
Что это? Прилавок? Или алтарь?

---

Торговали здесь плотью Христа? Или кровь  
Его разливали? Отмеряли холст?  
Торговец молился? Барышничал поп?  
Прекрасные божьи творенья, - сосны  
Сбывает соседский портной за бесценок.

<sup>39</sup> *Ты боишься этой церкви. ... дочка мамы Кураж.*

Бертольд Брехт. «Мамаша Кураж и ее дети»:

...как же она одна пойдет с фургоном? Она боится войны. Она ее не переносит. Какие у нее, наверно, страшные сны! Я слышу, как она стонет по ночам. Особенно после боев. Не знаю, что она видит во сне. Она страдает от сострадания.

<sup>40</sup> *«Перебейся год!» ... А война ставит тебя на колени, и кладет на спину.*

Бертольд Брехт. «Мамаша Кураж и ее дети» (Песня о Великой Капитуляции):

Было время -- я была невинна,  
Я на род людской глядела сверху вниз.  
Я не знала, что такое половина,  
И не знала слова "компромисс".

А скворец поет:  
Потерпи-ка с год!  
И, затаив свои мечты,  
Со всеми в ряд шагаешь ты.  
Увы, приходится шагать  
И ждать, ждать, ждать!  
Наступит час, настанет срок!  
Ведь человек же ты, не бог --  
Лучше промолчать!

Но и год -- не так уж это мало!  
Поступиться кое-чем пришлось и мне.  
На коленях я, глядишь, уже стояла  
И уже лежала на спине.

А скворец поет:  
Перебейся год!  
И, затаив свои мечты,  
Со всеми в ряд шагаешь ты.  
Увы, приходится шагать  
И ждать, ждать, ждать!  
Наступит час, настанет срок!  
Ведь человек же ты, не бог --  
Лучше промолчать!

Кое-кто пытался сдвинуть горы,  
С неба снять звезду, поймать рукою дым.  
Но такие убеждались очень скоро,  
Что усилия эти не по ним.

А скворец поет:  
Потерпи, придет!  
И, затаив свои мечты,  
Со всеми в ряд шагаешь ты.  
Увы, приходится шагать  
И ждать, ждать, ждать!  
Наступит час, настанет срок!



---

Ведь человек же ты, не бог --  
Лучше промолчать!

<sup>41</sup> *война издохнет без тебя*

Бертольд Брехт. «Мамаша Кураж и ее дети»:

Из Ульма в Мец, из Меца к чехам!  
Из края в край, вперед, Кураж!  
Война прокормит нас с успехом,  
Коль ей свинец и ружья дашь.  
Но лишь свинцом сыта не будет,  
Одних лишь ружей мало ей:  
Войне нужны вдобавок люди,  
Она издохнет без людей!

<sup>42</sup> *Ты хочешь перебиваться до могильной мглы?*

Бертольд Брехт. «Мамаша Кураж и ее дети»:

Война удачей переменной  
Сто лет продержится вполне,  
Хоть человек обыкновенный  
Не видит радости в войне:  
Он жрет дерьмо, одет он худо,  
Он палачам своим смешон.  
Но он надеется на чудо,  
Пока поход не завершен.  
Эй, христиане, тает лед!  
Спят мертвецы в могильной мгле.  
Вставайте, всем пора в поход,  
Кто жив и дышит на земле!

<sup>43</sup> *Потому что войне плевать ... сгусток снов.*

Вильям Шекспир. «Буря»:

В этом представленье  
Актерами, сказал я, были духи.  
И в воздухе, и в воздухе прозрачном,  
Свершив свой труд, растаяли они. -  
Вот так, подобно призракам без плоти,  
Когда-нибудь растают, словно дым,  
И тучами увенчанные горы,  
И горделивые дворцы и храмы,  
И даже весь - о да, весь шар земной.  
И как от этих бестелесных масок,  
От них не сохранится и следа.  
Мы созданы из вещества того же,  
Что наши сны. И сном окружена  
Вся наша маленькая жизнь.

Федор Тютчев. «Как океан объемлет шар земной...»:

Как океан объемлет шар земной,  
Земная жизнь кругом объята снами;  
Настанет ночь - и звучными волнами  
Стихия бьет о берег свой.

---

То глас ее; он нудит нас и просит...  
Уж в пристани волшебный ожил челн;  
Прилив растет и быстро нас уносит  
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,  
Таинственно глядит из глубины,-  
И мы плывем, пылающею бездной  
Со всех сторон окружены.

<sup>44</sup> *Помнишь, он нарисовал потом на этой дерюге ... растаптывающая нас.*

Гийом Аполлинер. «Цыганка»:

Знала все: и конец, и начало,  
И ночей наших круговорот...  
Мы с цыганкой простились, и вот  
У ворот нас мечта повстречала.

А любовь, как медведь, тяжела,  
В пляс пускалась, где только случится,  
И поэтому синяя птица  
Свои перья спасти не смогла.

Пусть погубит нас эта приманка –  
Пыль дороги, любовь и мечта,  
Но мы помним с тобой не спроста  
Все, что нам нагадала цыганка.

Юлия Хартвиг. «Аполлинер»:

Тогдашние стихи Аполлинера отражают неуравновешенную атмосферу их любви; внешне плавные и быстро струящиеся, они время от времени обнажают поток – темный, опасный и не сразу заметный. Любовь, тяжеловесная, как прирученный медведь, плясала на задних лапах, как вы того хотели, и мы хорошо знаем, что обрекаем себя на вечные муки – таинственный язык любви, где все может быть буквально и где все может быть условно – неожиданное прикосновение ко дну реки, неожиданная судорога сжимающегося сердца, неожиданная молния, открывающая клубящееся ядро темноты, тут же гаснущая от ливня времени, который с жестоким и снисходительным шумом затопляет вершины молчания, наслаждения и неповторимости. Так прозаически можно изложить стихотворение «Цыганка»...

<sup>45</sup> *Как будто мы были этими акробатами ... ходили колесом и взмывали в воздух.*

Гийом Аполлинер. «Облачное видение»:

Помнится накануне четырнадцатого июля  
Во второй половине дня часам к четырем поближе  
Я из дому вышел в надежде увидеть уличных акробатов

Смуглолицые от работы на свежем воздухе  
Они попадают ныне куда как реже  
Чем когда-то в дни моей юности в прежнем Париже  
Теперь почти все они бродят где-то в провинции

Я прошел до конца бульвар Сен-Жермен  
И на маленькой площади между церковью  
Сен-Жермен-де-Пре и памятником Дантону  
Я увидел толпой окруженную труппу уличных акробатов

Толпа молчаливо стояла и безропотно выжидала

---

Я нашел местечко откуда было все видно  
Две огромные тяжести  
Как бельгийские города которые русский рабочий из Лонгви приподнял над головой  
Две черные полые гири соединенные неподвижной рекой  
Пальцы скатывающие сигарету что как жизнь и горька и сладка

Засаленные коврики лежали на мостовой в беспорядке  
Коврики чьи складки уже не разгладить  
Коврики все сплошь цвета пыли  
На которых застыли грязные желто-зеленые пятна  
Как мотив неотвязный

Погляди-ка на этого типа он выглядит жалко и дико  
Пепел предков покрыл его бороду пробивающейся сединой  
И в чертах вся наследственность явлена как улика  
Он застыл он о будущем грезит наивно  
Машинально вращая шарманку что дивно  
И неспешно бормочет и глухо вздыхает порою  
И захлебывается поддельной слезою

Акробаты не шевелились  
На старшем было трико надето того розовато-лилового цвета который на щеках юницы  
свидетельствует о скорой чахотке

Это цвет который таится в складках рта  
Или возле ноздрей  
Это цвет измены

У человека в трико на спине проступал  
Гнусный цвет его легких лилов и ал

Руки руки повсюду несли караул

А второй акробат  
Только тенью своей был прикрыт  
Я глядел на него опять и опять  
Но лица его так и не смог увидеть  
Потому что был он без головы

Ну а третий с видом головореза  
Хулигана и негодяя  
В пышных штанах и носках на резинках по всем приметам  
Напоминал сутенера за своим туалетом  
Шарманка умолкла и началась перебранка  
Поскольку на коврик из публики бросили только два франка да несколько су  
Хотя оговорено было что их выступление стоит три франка  
Когда же стало понятно что больше никто ничего на коврик не кинет  
Старший решил начать представление  
Из-под шарманки вынырнул мальчик крошечный акробат одетый в трико все того же розоватого  
легочного цвета  
С меховой опушкой на запястьях и лодыжках  
Он приветствовал публику резкими криками  
Бесподобно взмахивая руками  
Словно всех был готов заключить в объятия

Потом он отставил ногу назад и почти преклонил колено  
И четырежды всем поклонился  
А когда он поднялся на шар  
Его тонкое тело превратилось в мотив столь нежный что в толпе не осталось ни одной души  
равнодушной  
Вот маленький дух вне плоти  
Подумал каждый

---

И эта музыка пластики  
Заглушила фальшивые лязги шарманки  
Которые множил и множил субъект с лицом усеянным пеплом предков

А мальчик стал кувыраться  
Да так изящно  
Что шарманка совсем умолкла  
И шарманщик спрятал лицо в ладонях  
И пальцы его превратились в его потомков  
В завязь в зародышей из его бороды растущих  
Новый крик алокожего  
Ангельский хор деревьев  
Исчезновение ребенка

А бродячие акробаты над головами гири крутили  
Словно из ваты гири их были

Но зрители их застыли и каждый искал в душе у себя ребенка  
О эпоха о век облаков

<sup>46</sup> *Ведь мы до сих пор несли этот мучительный ад в себе ... как мертвый солдат несет в остановившемся сердце родину.*

Гийом Аполлинер. «Печаль звезды»:

Минерва, ты взошла из головы моей.  
Кровавою звездой навеки я увенчан.  
Мой разум во главе, а небеса – над ней,  
Защищены броней прекраснейшей из женщин.

Вот почему от ран остался только след,  
Свет звезд уврачевал смертельной боли трепет.  
Но потайная боль, питающая бред,  
Ужаснее всего, что наше сердце терпит.

И я несу в себе мучительный мой ад,  
Как светлячок свое дрожащее светильце,  
Как Францию в душе израненный солдат,  
Как лилия пыльцу душистую на рыльце.

<sup>47</sup> *И разве тогда это голубое небо не казалось тебе кровью божества, одной только капли которой стало бы достаточно, чтобы спасти тебя?*

Кристофер Марло. «Трагическая история доктора Фауста»:

Ах, Фауст!  
Один лишь час тебе осталось жить, -  
И будешь ты навеки осужден!  
Свой бег остановите, сферы неба,  
Чтоб время прекратилось, чтоб вовек  
Не наступала полночь роковая!  
Природы око, воссияй! Пусть вечный  
Настанет день, иль этот час продлится  
Год, месяц иль неделю - хоть бы день,  
Чтоб Фауст мог, раскаявшись, спастись.  
O, lente, lente currite, noctis equi!  
Светила движутся, несется время;  
Пробьют часы, придет за мною дьявол,  
И я погибну. О, я к богу рвусь!  
Кто ж тянет вниз меня? Смотри, смотри!

---

Вот кровь Христа по небесам струится.  
Одной лишь каплей был бы я спасен.

<sup>48</sup> *разве ты не казался себе бабочкой, возвращающей заемный прах равнодушной земле?*

Осип Мандельштам. «Не мучнистой бабочкою белой...»:

Не мучнистой бабочкою белой  
В землю я заемный прах верну —  
Я хочу, чтоб мыслящее тело  
Превратилось в улицу, в страну:  
Позвоночное, обугленное тело,  
Сознающее свою длину.

Возгласы темно-зеленой хвои,  
С глубиной колодезной венки  
Тянут жизнь и время дорогое,  
Опершись на смертные станки —  
Обручи краснознаменной хвои,  
Азбучные, крупные венки!

Шли товарищи последнего призыва  
По работе в жестких небесах,  
Пронесла пехота молчаливо  
Восклицанья ружей на плечах.  
И зенитных тысячи орудий —  
Карих то зрачков иль голубых —  
Шли нестройно — люди, люди, люди, —  
Кто же будет продолжать за них?

<sup>49</sup> *Не люби она нас ... и теперь стоит перед нами?*

Гийлом Аполлинер. «Убиенный поэт»:

Я Крониаменталь, самый великий из ныне живущих поэтов. Я часто встречался лицом к лицу с Богом. Я выдержал божественный огонь, мои человеческие глаза умерили его. Я жил в вечности. Но пришло время, и пришел я, — чтобы явиться перед вами.

<sup>50</sup> *Как мы вас любим, жизнь!*

Гийом Аполлинер. «10 апреля 1915»:

Снаряды бошей бьют, все небо раззвездив,  
И мой заклятый лес справляет бал в их вое,  
И чешет пулемет на две восьмых мотив.  
Известно ль слово вам? – Да, слово роковое:  
Бросай лопаты все, и – к брустверам, кто жив!

Сигнал: «В укрытие!» Лежи, к земле прижмись!  
Вдрызг сердце, как фугас, на апогее свиста...  
Я не один – лежу с лафетом обнявшись,  
И божества спешат в молчанье удалиться.  
Как мы вас любим, жизнь! Как вам обрыдли, жизнь!

Снаряд мяукнул про смертельную любовь.  
Последняя любовь всего на свете краше.  
Пастушка, дождь идет, почти иссякла кровь.  
Пурпурная любовь, послушай: это наши  
Поют под этот визг, что не полюбят вновь.

---

Бессонный бой. Весна промокла до костей.  
Дождь, ливень мертвых глаз не прекращает литься.  
Ты скоро ль приплывешь в Итаку, Одиссей?  
Спи на соломе, спи, пусть угрызенье снится  
И – как искусство – сон нас возбуждает сей.

<sup>51</sup> ...Христиана Клейста

Осип Манделъштам. «К немецкой речи»:

Freund! Versäume nicht zu leben:  
Denn die Jahre fliehn,  
Und es wird der Saft der Reben  
Uns nicht lange glühn!

Ew. Chr. Kleist

[Друг! Не упусти (в суете) самое  
жизнь. // Ибо годы летят // И сок  
винограда // Недолго еще будет нас  
горячить! (Эвальд Христиан  
Клейст)]

Себя губя, себе противореча,  
Как моль летит на огонек полночный,  
Мне хочется уйти из нашей речи  
За все, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести  
И дружба есть в упор, без фарисейства --  
Поучимся ж серьезности и чести  
На западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы!  
Я вспоминаю немца-офицера,  
И за эфес его цеплялись розы,  
И на губах его была Церера...

Еще во Франкфурте отцы зевали,  
Еще о Гете не было известий,  
Слагались гимны, кони гарцевали  
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле  
Мы вместе с вами шелкали орехи,  
Какой свободой мы располагали,  
Какие вы поставили мне вехи.

И прямо со страницы альманаха,  
От новизны его первостатейной,  
Сбегали в гроб ступеньками, без страха,  
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,  
И много прежде, чем я смел родиться,  
Я буквой был, был виноградной строчкой,  
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада,  
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.

---

Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада  
Иль вырви мне язык -- он мне не нужен.

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют  
Для новых чум, для семилетних боен.  
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,  
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

<sup>52</sup> *Как будто мы убили сон.*

Вильям Шекспир. «Макбет»:

Я словно слышал крик: "Не спите больше!  
Макбет зарезал сон!" - невинный сон,  
Сон, распускающий клубок заботы,  
Купель трудов, смерть каждодневной жизни,  
Бальзам увечных душ...